

**ИГОРЬ
ПОМЕРАНЦЕВ**

**АЛЪБЫ
И
СЕРЕНАДЫ**

ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ

АЛЬБЫ И СЕРЕНАДЫ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
R. R. PRESS**

ЧИТАЯ ФОЛКНЕРА

Мне не хочется ставить последнюю точку. Мне кажется, я кончаю не маленькую повесть, а свою первую, самую счастливую и короткую жизнь.

Я в комнате, где музыка и дым. Напряженная спина отца, пятна пота, пахнущие "Шипром". Жуть газетных передовиц; какие тяжелые слова ворочает отец: МТС, директива... Стеснялся слова "журналист", говорил о себе: газетчик. Конец пятидесятых, я притаился в комнате, отец, пышущая жаром радиола, зеленый глазок, а из черного гарлемского вымени бьет струя джаза. Подставляю руки, лицо, сердце. Этим молоком я вскормлен. С этого начался Фолкнер?

Нет.

:полдень, шлемы куполов, стремительные ступеньки, мы в майках, нам — шесть, прохладная духота церкви. Сбоку и сверху: голос отдельно, оспенное лицо отдельно: — А ты, жиденок, ступай отсюда.

Это не мне. Это Моне. Бег наперегонки с дыханием. Мони полуподвал, нелепо разведенные руки Рувима Львовича. Так начался Фолкнер?

Нет.

:девочка, на берегу тебя. Как высоко небо. Как глубокий поцелуй. Мы не на "ты" — на "я". Не вхожу — заплываю далеко в тебя: мимо — буйков, горизонта — мимо; оглянувшись, не видел кромки суши, радовался. Ты помнишь, десять июлей тому ты входила, столькожелетняя, в дух захватывающее Черное и была в нем теплым течением. Но причем здесь Фолкнер? Причем. Причем!

С ума сойти: стрелки часов Бенджамина Компсона вращаются в обе стороны. Он фиксирует происходящее, как художник, не искушенный знанием законов перспективы. Для Бенджи событие не имеет ни общепринятой логики, ни конца, ни начала, но лишь контур, цвет, запах, степень приятности или боли. Он часто плачет, но слезы эти не горьки, не печальны — они текут, потому что текут; слезы — его средство общения. Слова говорящих он различает не по смыслу, а по интонации, тембру. Бенджи словно движется на карусели. Виток. На гамаке в саду Кэдди и Чарли. Еще виток, длиною в полжизни. На гамаке Квентина и Франк с красным галстуком. Кружится голова. Судорожно цепляется Бенджи за гриву деревянной лошадки. Катятся слезы. Тридцать три года. По кругу. По кругу. Те же лица, запахи, крики. В десяти строчках первого абзаца "fence" (забор) повторяется 5 раз, "went" (прошедшее время глагола идти) — 5 раз, "hit" (ударить) — 4 раза, "flower" (цветок) — три раза, "flag" — три раза.

Пластинку Бенджи заело на "Люблю Кэдди". (Калитка, школьницы, идущие в сумерках, запах деревьев — это все Кэдди). Ночь кончается для него счастьем: присутствием Кэдди (они спят рядом и ее словами о пробуждении. Но

надушенная Кэдди для него уже другой человек: он убегает от нее. Для Бенджи признак чаще важнее и занимательнее, нежели носитель признака. Однажды заметив яркие пятна (“bright shapes”), он позже думает о них только как о “яркие” (опуская существительное). В выборе признака проявляется поэт. Секрет субстантивации знал Мандельштам, гений имен прилагательных.

*Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных с прозрачными играть.*

Или:

*Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.*

Все не о том прозрачная твердит...

Итак, мы сравнили Бенджи и Мандельштама. Уточним: за спиной Бенджи всегда сокрыт автор. Если бы сам Бенджамин Компсон взялся за перо, на бумаге скорее всего остались бы ломаные линии и пятна слюны. Лексическим топтанием, эллипсисами, обрывами, выбором признаков Фолкнер создает иллюзию того, что Бенджи сам рассказывает о себе. Фолкнер пишет “изнутри”. О затемненности, фрагментарности, прерывистости мышления героя мы судим не потому, что автор этими словами характеризует Бенджи. С первого предложения романа Бенджи смотрит сквозь что-то: забор, выющиеся цветы. Это намек, толчок – вывод за нами. Вот строчки хорошего поэта.

*Какие горькие слова!
С песком, полусырые.*

Названо очень точно (это о шуме листвы). Фолкнер – поэт

высшего порядка. Он выбирает такие слова, расставляет их таким образом, использует такие знаки препинания, что песок или влагу мы не просто считываем со страницы, но ощущаем на зубах и кожей. Вот предложение. "What do you think of that scouring her head into the". ("Тычу ее лицом в.") Дальше земля помешала. На точке после "в" кончается литература и начинается жизнь.

Цивилизация выражает себя на всех уровнях. На грамматическом тоже. Индейцы говорили о себе в третьем лице. В мифологической песне "Прорицание вельвы" из древнеисландского эпоса "Старшая, или стихотворная, Эдда" (около X в. н.э.) вельва, т.е. колдунья, говорит о себе как в первом ("...все я провижу...", "Ясень я знаю по имени Иггдрасиль..."), так и в третьем лице ("Она колдовала тайно однажды...", "Один ей дал ожерелья и кольца"). Это свидетельствует о двойственном – отчасти еще языческом, частью уже монотеистическом – мироощущении. Бенджи – идиот; он растворен, смазан, расквашен и все же, повторяя окружающих, думает только от "я". Это – формальная индивидуализация. Сам по себе Бенджи, в отличие от Квентины или Джейсона, – ноль, ничто. Он интересен, как монтажные ножницы, как оптический прицел Фолкнера. Глава первая – торжество острания.

События, происходящие в первой главе, смонтированы не хронологически, но – не без помощи Бенджи – ассоциативно. Все последующие главы – разгадка, ключ к пунктирному восприятию Бенджи. В школьных учебниках грамматики детям часто предлагают такое упражнение: вставьте в предложение вместо точек подходящие слова. Учебники преследуют дидактические и воспитательные цели. Фолкнеру плевать на развитие нашего воображения или логики. Он – художник. Он следует своей эстетической правде. Глава, написанная от "я" Бенджи, – это проза замедленного действия: сперва она ставит в тупик и очаровывает вопреки непониманию, а после прочтения всей книги ошеломляет и поко-

ряет точностью, дерзостью и мастерством. Вкус счастья лишь тогда сладок, когда для достижения счастья преодолевают сопротивление и преграды. Это относится и к счастью чтения.

Ритм напряжения первой главы задан и вымерен: узкоколейное восприятие Бенджи сочетается с недосказанностью событийной: то Ластер утаивает чужой мячик, то от детей скрывают смерть бабушки.

Почти десять лет тому назад восторженный второкурсник, мой тезка и однофамилец, написал:

”Итак, начинаются Черновцы! Встаньте — как вы всегда встаете, когда говорят о любви. Этот город выстроен из недомолвок, дыма и крика. В его дворах, где пасутся дожди, громоздятся искореженные клетки для птиц и полуистлевшие кошки трутся о пепельных голубей. В его стенах — непробитые окна, обрамленные карнизами. Каменные намеки. Казалось, уже все было готово, чтоб извлечь кубометр кирпича, но вдруг началась чума или нахлынула вражеская армия, и ступеньки нелепо уткнулись в то место, где должна была появиться дверь, — так алхимик на смертном одре мог бы раскрыть лишь половину тайны. Черновцы размыты переулками. На какой-то окраине, в каких-то отголосках города, где запах и цвет — одно и то же, прорезаются тополя...”

Отречение от своего прошлого — это отречение и от будущего. Я не намерен отказываться от своего юношеского голословия. Я лучше попробую еще раз, снова о Черновцах. Вдруг получится?

Сначала: поля: кукурузные, картофельные, гороховые — без края, без границ; какой-то пространственный разгул, разврат — и это тоже город — и ты, в ужасе глядящий на ртутных, рассыпающихся вдаль мальчишек. И вот ты уже один на один с дюреровским муравьем, лезвием кукурузного листа, дрожью поджилок. Разве это сравнимо с неуютном коридорной полутьмы, когда ты просишь ”Мамочка,

постой за дверью уборной – а то мне будет страшно выйти!” Крепко сжаты и забыты два стручка гороха в ладони, сладкие молочные слезы в лопатках. Все это повторится еще тысячу раз – на каменных мостовых – только мелькнет меж домов оранжевая майка старшего брата; это он убегает от тебя со своими ровесниками, они сильнее и выносливее, они бросят тебя одного, с болью в селезенке, с мокрыми солеными ресницами; и потом на тех же мостовых тебе крикнет женщина “Все! Все!”, и за нею с грохотом захлопнутся дверные створки трамвая, а твоя боль медленно, как в лифте, подыметя из селезенки в грудь и остановится – уже навсегда – возле левого соска, а ты, по-прежнему забыв обо всем на свете, будешь сжимать в своей побелевшей ладони два нелепых гороховых стручка – сладкие молочные слезы в лопатках.

Мое зеленое, виноградное, тминное детство под сенью дедушек (позднее разобрался: дедушка – один, все остальные – его братья); не помню в раннем детстве зим; оглядываюсь и вижу: вечный июль, воздух, струящийся из набухших яблок, щекочущий до головокруженья. Первый трехколесный велосипед. Я буду ездить на нем, пока коленки не уткнутся в подбородок. Потом – сразу – едва сандалики дотягиваются – “Орленок”. Учительница брата всплескивает руками: “Светлана Ивановна! Я видела вашего младшего: он катался на чужой улице!” А мне уже тесно в саду, и своя улица мне мала, и как замечательно, что этот город скроен на вырост. Я набираю скорость, и мой брат уже не придерживает меня за багажник. Как долго тянется асфальт и аптекарский запах из-за забора госпитального двора. Через два года я узнаю про существование словосочетания “болезнь Боткина” и почувствую пухлость и объем слова “печень”. Остывшим декабрьским рассветом я прошлепаю в спадающих – на два номера больше – казенных тапочках, в вылинявшей пижамке пустынным гулким коридором, войду в высокую, почему-то всегда со свежевыкрашенными стенами уборную,

найду свою баночку с биркой "Гена Люстрин. Анализ мочи" и беззвучно з-з-з-з наполню ее. Никогда в жизни я больше не видел такого горького, такого соленого, акрихинного черно-желтого электрического света, как в больничных уборных сиротливым декабрьским рассветом! Лежа в изоляторе, в полубреду слизывал этот свет с губ; долго смотрел на босые ступни санитарки Гали, стало неловко, не нашел ничего лучше — и сейчас, когда пишу это, краска заливает щеки, — чем спросить "Галя, у тебя плоскостопие?". У кого только слову такому научился?! Но это после, через два года; а пока — на прозрачных спицах я открываю квартал за кварталом, и с моих шин слетают навозные иголки пригорода прямо на убористые булыжники по-ярмарочному нарядного центра. Горбуны; безумцы; расписанные, как пасхальные крашенки, крестьяне; евреи — что ни мужчина, то Кафка, что ни старуха, то вечность — все это по боку, только за локтями просвистело. На велосипеде с отказавшим тормозом я наматываю на колеса уже не километры, а годы. Как странно: вокруг меня все говорят по-немецки и по-румынски, а я все понимаю. Я знаю этого мальчика и девочку, которой он кричит "Аме!". Его зовут Пауль Анчел. Став взрослым, он переименит свою фамилию в Целан, и в литературных энциклопедиях вслед за датами его рождения и гибели напишут "выдающийся австрийский поэт". А пока мы втроем на берегу речки Прут. Среди жалящей гальки мы находим песчаный оазис. Песок, как крем, проходит сквозь пальцы. Вода студена. Становишься на цыпочки, тянешься вверх — лишь бы ледяной поясок не замкнулся на талии. Обрушиваешься. "Мальчики! Не заплывайте далеко!" — это голос Аме.

Конец мая, семьдесят какой год? Мы сидим на кухне — только там и остались табуретки. Все упаковано, чемоданы затянуты, замкнуты саквояжи на маленькие игрушечные ключики. Мне кажется, что я на перроне и слышу рыданье и сам давлюсь слезами под тихую еврейскую мелодию. Край тьмы. Край света. Но куда эмигрировать от себя? Как Пауль

– головой в Сену? Женщина с юным лицом и звонкой сединой говорит:

– Он был красивый мальчик. Он был красив утром, вечером, в гимназии, в библиотеке...

Мы тянем остывший кофе. Амалия спрашивает:

– Вы хотите переводить стихи Пауля?

– Нет, – говорю я и чувствую: надо что-то добавить, что-то объяснить. Но мне ведь и самому не все ясно, я ведь и себе не могу внятно ответить, зачем пришел к этой женщине, зачем цежу холодную кофейную кашницу и не хочу, не хочу уходить. Я возвращаюсь в довоенные Черновцы. Забегаю на рынок, улыбаюсь гуцулкам в накрахмаленных чистеньких передничках, пробую ослепительно белый творог – он тает на языке быстрее снега. Я не пропускаю ни одного подвальчика с намалеванной на дверях гроздью винограда, пью из деревянных кружек. Как кружится небо над головой. Как пьян этот воздух.

– Ты хотел бы показать мне Черновцы? Крупнозернистая стена дома. Бесконечный, как зевок, туман. Родители позволяют ей возвращаться не позже одиннадцати. Мы медленно отрываемся от земли. Вот летят над Украиной не ведьма и ведьмак, а юная женщина и молодой мужчина. Его знобит и он поднимает воротник. Низко над ними Млечный путь, и когда они пролетают над огнями городов, мужчина поеживается на звездном сквозняке. Так летим мы, рука в руке, пока утро не открывает перед нами мой Дублин, мой Витебск, мой городок. Последние вельветовые лоскутки свежевспаханых полей и крыши, крыши. Любимая, осторожно: легкое облачко – чей-то сладкий сон. Ноги, прикоснувшись к плитам, зудят с непривычки. Тротуар. Подъезд. Потом еще глубже, по осклизлым ступенькам, сквозь острый помойный аромат; в этой подвальной полумгле с темными сырыми разводами памяти на потолках – слышишь ли ты ребячий голосок:

Раз, два, три четыре, пять –

я иду искать.
Кто не захова­лся —
я не виноват?

Стремглав, нарочно с нею, спрячемся, нет, не сюда, здесь сразу найдут, да, да, в этот влажный, дрожащий мрак; тоньше ниточки — щелка. Она глядит сквозь нее, видит восклицание "Тук-тук за себя!", и я тоже, из-за спины заглядываю в щелку, не чтоб увидеть — чтоб прикоснуться к лезвию плеча, яблочному локотку; ночь в глазах.

Я не захова­лся. Я не виноват. Вот кто-то отделяется от тьмы, вылитый я, со щетиной и трауром под ногтями. Он отстраняет тебя и кулаком убивает меня насмерть ударом в висок.

Как начать этот отрезок моей прозы, моей поэзии, моей жизни? Резко и сумбурно? А потом где-то к середине обрести почти сухую, почти протокольную ясность, слишком уж сухую и протокольную, чтоб заподозрить меня в пристрастии к добротной прозе. Или наоборот: сперва упомянуть даты, имена, места встреч и разрывов, а потом с каждым словом все стремительней и круче набирать высоту, пока не лопнут барабанные перепонки и носом не хлынет кровь? А что, если так: Воскресенье, конец марта; утром из зеркала на меня посмотрел небритый старый-старый молодой писатель. Он открыл окна, и на улице стало теплее. Он спустился по лестнице, впервые в этом году с непокрытой головой, пальто нараспашку, с болью в груди — от невозможности высказать все, до конца. Внимательно прислушиваясь к своей боли, он вспомнил строфу из любимого поэта, одна из книг которого, должно быть в пику святому Франциску, называлась "Сестра моя — жизнь".

*Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,*

*Тебя вели нарезом
По сердцу моему.*

Боль обрела вкус: словно во рту защипало недоспевшее яблоко. Во дворе влажная набрякшая земля как-то вся сразу подавалась под каблуками. Откуда-то вынырнули символы весны: спортсмены в разноцветных майках. Символы гоняли мяч; механический футбол; фигурки, у которых есть только вид сбоку и никакого будущего; клавишные бега; гашеточный разнобой; иногда мяч вылетал за металлическую сетку спортивной площадки, и дети, стоявшие за сеткой, все вместе устремлялись к нему и, повозившись, в конце концов перебрасывали мяч на площадку, вновь включая тела и голоса спортсменов. Вернувшись, третье лицо единственного числа вымыл два бокала — он ждал гостью, — вспомнил ее губы, пахнущие укропом, а потом всю эту зиму, снег этой зимы и воздух, тоже пахнущие укропом, отпил глоток белого кислого вина и сел к столу. Писалось ему легко. Про мартовское воскресенье, влажную податливую землю, красивых спортсменов в разноцветных майках и аромат июньских огородов. Но то главное, ради чего он писал, ускользало из-под пера: то ли он боялся подступить вплотную к этому главному, то ли оставлял, как самое лакомое, на потом.

День-дон. Пока не поздно, отложим книгу, бросим главу вторую, забудем про роковой июньский день 1910 года. Вернемся в Бенджин мир: там еще живой-здоровый Квентин, там счастливо плещется в ручье Кэдди и даже Джейсон — не такой уж злодей — изорванные им бумажные игрушки не в счет. Но куда там! Разве уйдешь от Фолкнера. Вы можете вот так, одним предложением описать повторяющуюся изо дня в день спешку опаздывающих: "...the same fighting the same heaving coat-sleeves..." (все та же ловля рукавов пиджачных на лету)?

Здесь что ни строчка, то горизонт. Ты к ней — она от тебя. Квентин разбивает вдребезги часы. А они знай себе тикают. К тому же он порезал палец и выпачкал циферблат в крови. Есть ли смысл вывернуть наизнанку эту метафору? Думаю, нет. Интересна структура фолкнеровских метафор. Сначала он вбрасывает почти лобовую мысль. Ты едва не морщишься. Но вот он начинает ее раскручивать и разворачивать. Ты становишься на цыпочки, а он все тянет тебя за собой — не дотянуться.

Когда умрешь, благородный ты или нет, запашок тут как тут. Вот едет гремящим трамваем молодой, с иголки одетый труп с остановившимися часами и взглядом. От него разит воспоминаниями; от воспоминаний — духотой жимолости, объятий и камфоры; как за дымовой завесой, все преломляется, слонится, растекается — до запятых ли?

Квентин — максималист. Он все воспринимает в самом прямом смысле. Если цвета — то без примесей: вечные, библейские. Если добро — то как в притче — из одного куска. Рушится, рушится его мир: вот-вот Квентин будет погребен под руинами. Я не о заблуждении Квентина. Я о нашем заблуждении. Не мы — Квентин прав! С тех пор, как безумно (это для нас — безумно, а он иной любовью и любить не может) любимая им сестренка Кэдди познакомилась с неким Долтоном Эймсом и потеряла невинность, время Квентина отсчитывает его височная жилка. Долтон Эймс. Динь-дон. Долтон Эймс. Динь-дон. И всюду адская машинка — на запястье, в витрине часовой мастерской, на башне. Каждое мгновение не прожито — сопережито. Обострены слух, обоняние, зрение, совесть.

Кое-кому повезло: у них кожа, как кора дерева. Наверное, из-за таких счастливчиков некоторым вовсе кожи не досталось. Так и живут — как освежеванные. Хорошо еще, что ледниковый период кончился. Кончился?

Знаменитая слеза ребенка для Квентина не цитата, но

капля соленой влаги, срывающаяся с детской щеки в бездну. Квентин устремляется за ней.

Но, сэр, но Квентин, какими судьбами ты забрел в роман, написанный в 29-ом году? Беги из него. Я передам тебе — стража подкуплена — веревочную лесенку и напильник. Что же ты мешкаешь? Через крепкую, коротко остриженную голову лейтенанта Генри ты протягиваешь руку несчастному немецкому пареньку, чующему запахи по телефону; незабвенному Симору Глассу; подростку, показывающему юной возлюбленной где-то в школьном закутке, на самой верхотуре, свою страшную тайну: кожу, крапленную псориазом. Генри, конечно, не в счет. О нем и речи быть не может. Скорей уж другой лейтенант — Глан. Или Арсеньев. Их тоже обделили кожей. Но им присуща скорее биологическая, сословная, психологическая тонкость, а не духовная. Задержимся на Симоре. Вот он, прощаясь с жизнью накануне самоубийства, целует пяточку Сибиллы. Не будем пересказывать.

”Молодой человек надел халат, плотнее запахнул отвороты и сунул полотенце в карман. Он поднял мокрый, скользкий, неудобный матрасик и взял его под мышку”. А вот Квентин в последний час своей жизни. “Then I remembered I hadn’t brushed my teeth, so I had to open the bag again. I found my toothbrush and got some of Shreve’s paste and went out and brushed my teeth. I squeezed the brush as dry as I could and put it back in the bag and shut it, and went to the door again”. (“Вспомнил, что зубы не чищены, и пришлось снова лезть в чемодан. Вынул щетку, взял у Шрива из тюбика пасты, пошел в ванную, зубы вычистил. Вытер щетку посуше, вложил обратно в чемодан, закрыл, опять пошел к дверям”). Как совпадает интонация, настрой, аксессуары!

Свобода заключается не столько в том, чтобы преодолеть и отвергнуть этику общую, сколько в том, чтобы подчиниться и следовать этике личностной, генетической. Квентин — свободный человек. Сколь бы ни был убедителен Компсон-

старший в споре с сыном, его позиция порочна по сути своей, ибо человек и силен тем, что в каждый промежуток между ударами сердца успевает прожить всю свою жизнь.

Есть такой стилистический прием: зевгма. Приблизительно его можно растолковать так: использование грамматически однозначного члена предложения в конструкции с двумя (или более) словами, одно из которых обладает переносным, а другое — буквальным значением. За примером далеко ходить не будем: "... с остановившимися часами и взглядом". Не верьте мне. Это не я владею словом, а оно мною. С ясностью во взоре Квентин развоплощает свою душу. Во искупление.

...и прыгнул он с моста и пошел по воде как по суше..

...много передать не могу Нина Аркадьевна звонила так я к ней примазалась пей бульон и ешь биточки предварительно поджарь на маленьком огне если рубашка не понравится то продай она стоит 7.50 мне лично по вкусу не маркая хорошо стирается под цвет твоих глаз Геночка не забывай маму звони как живешь что нового главное если холодно то одевай нижнее белье береги себя как с деньгами что купил получил ли чистое белье из прачечной убираешь ли комнату кухню и коридор множество вопросов посыпалось на твою холостяцкую голову и не надоело так жить я была на толкучке продала пальто отцовское за 35 наконец-то приезжала мать Тони непрошенный гость хуже татарина Толечка сразу сбежал даже глядеть на нее не хотел а я пришла к обеду и мне позвонил Толя дескать она хочет говорить с тобою а я даже видеть ее не желала ушла из дому до самого вечера пока она не уехала вот гадина хочет мира а я до смерти не хочу ее знать так и сказала Тоне ей конечно не нравится она уже простила а я при воспоминании о помолвке содрогаюсь вместе с Толечкой как видишь он мужчина простить ей не хочет так сильно она нас оскорбила сыночек ты молодец если покупаешь себе творог молоко обязательно надо есть

молочное вчера поздравила Мику она поменяла квартиру соединилась с бабушкой приходила с мужем тебя все равно любит я ей подарила хозсумку большую горшок-вазон и традиционный мамин торт сынуся я хочу заказать себе ботинки магазинные не лезут высокий подъем стоят 60 р. ужас но что делать ноги старенькие и больные сыночек что необходимо постирай кашне почисть всю обувь ежедневно смазывай и протирай лицо розовой скатертью новой застели стол сегодня же ты меня порадовал что купил рубашечку в горошек и носки покупай еще мне хочется чтобы ты купил себе костюм импортный все-таки костюм наряднее да и денег у тебя почти на костюм а пиджак купить легче он стоит дешевле с брюками а раз ты имеешь денег почти на костюм то покупай его а брюки и пиджак купишь потом сейчас когда зима если не очень холодно носи байковые трусы а к лету я еще пошью сыночек если есть еще рубашки в горошек то купи для Толечки я сразу вышлю деньги воротник 40 тебе буквально все надо ищи хорошую девочку с квартирой я бы к тебе приехала что будешь делать если хозяин квартиру откажет призадумайся у Тонечки уже животик виден почему стал редко звонить наверное не очень скучаешь неужто я не верю в чудеса ищи Геночка хорошую жену брось ходить в дураках и не надоело как ушанка пойдти на старую квартиру авось отдадут ведь уже холодно все тебе завидуют дорожи работой положи это под стекло что я должен сделать в субботу вытереть пыль и подмести постирать майки и трусы носки рубашки и погладить брюки на мокрую тряпку до блеска начистить обувь и если надо починить отнести белье в прачечную почистить пальто и пришить если надо пуговицы искать невесту повседневно чтобы жизнь была интересной веселой сытой прочитала твое письмо всплакнула мне очень горестно и больно что ты сукин сын считаешь меня госпожой Простаковой досада берет за твои размышления и убеждения тебя не убедишь что ж будем бедняками всю жизнь хоть я стремлюсь как все люди быть "толстой" продукты

выложи в кастрюли в целлофане не держи в первую очередь ешь рыбу потом мясо я не в обиде *цену себе знаю* видимо больше чем ты я ночная "фея" пишу в 6 утра поздравляю с весной солнышком Геночка я думаю что хорошие твои рубахи не *следует* отдавать в прачечную ибо они скоро полезут и все пуговицы разлетятся не ленись стирать мелочи не ходи с "запашком" сынуся почему не хочешь купить костюм ведь у тебя нет приличного костюма все барахло если не растратил деньги то действуй ищи себе невесту не будь хорьком Толя блаженствует до сих пор а Тоня все полнеет ничего не лезет толстуха ищи брюки послала тебе очень поучительное письмо это крик моей души писала ночью и плакала научись считаться с матерью на такой мизер я имею право у Тонечки токсикоз иногда рвота уже скоро ты сказал что хочешь менять работу разъезжать по городам вернее сопровождать с зарплатой 100 рублей но куда это годится не солидная мальчишеская холуйская ветреная работа мне совершенно не нравится а что стоит не поспать ночь другую мне даже стыдно будет сказать где ты работаешь я думала что завтра будет легче чем сегодня а что же получается ведь должно же быть когда-то лучше а ты все летаешь в облаках заставляешь меня разочаровываться и без того серой жизнью своей и твоей а время идет пора устраивать свою и мою жизнь выкинь дурь из головы будь реальным человеком вспомни отца как он трудился до самой смерти я работаю все праздники чтобы заработать на 5 рублей больше ты ничего не ценишь неужели не сделаешь вывода из моего письма запрещаю куда-либо переходить сыночек здравствуй большое тебе спасибо что часто звонишь я так привыкла к звонкам что всегда вечером тилим тилим тилим итак кончился день моего рождения день был вкусным весенним дождливым жаль тебя не было спасибо за подарок мы тебя с Микой вспоминали ведь в день моего рождения ей делали операцию помнишь ты ночь простоял под больницей прошло четыре года как ты там доверяешь будильнику неужели не просыпаешь сынуля пишешь ли

ты реферат в аспирантуру помнишь ты хотел о Фолкнере надо написать серьезно обстоятельно а не на честном слове в дороге будь осторожен не зевай прячь деньги подальше и пристегни английской булавкой не смейся будь постоянным не летай когда-нибудь получишь квартиру я приеду к тебе я мечтаю у нас телефон сбесился не работал в субботу я хныкала утром прорвало что нового счастливиц твой брат живет с женой и мамой Машки-Пашки на подхвате чистый накормленный купи себе баночку меда нельзя тебе есть все острое вчера послала тебе 10 руб. хочу чтобы ты купил себе баночку меда и маслица пусть будет на завтрак сладенькое хорошо для памяти как с комнатой вот напасть поспрашивай у хозяев торопись ищи скажи своему директору что у всех есть жилье кроме тебя авось поможет или подскажет как угри поживают не надо есть острое и употреблять спиртные напитки все запоминай и говори по телефону раз не пишешь я с ночи хочу бай-бай целую у нас был Саша он собирается в конце марта в командировку и хочет остановиться у тебя обижается что ты не отвечаешь вчера была Мика просто так зашла как дела на работе старайся пойдешь на повышение Толечка сменил нам телевизор блаженствуем стоит 286 р. экран 50 см влезли в ярмо как тебе голубое полотенце и красные наволочки на твою гривку судили Храпченко за убийство собственной жены дали расстрел негодяю где будешь на праздники иди в театр ведь в компанию нужно 10 р. а жаль на один вечер прими рубашечку в карманчике сюрприз не угадаешь 3 р. ха-ха-ха я буду красивенькой на май пошью новое шелковое платье и ты будь красивым врач уже нащупывает головку не зря всем животам живот но мы все дрожим если не звонишь так пиши почему меня держишь в черном теле сынуся вытирать стол надо влажной тряпкой чтобы он не был липким Тонечкина кабаниха даже не пишет где же правда кто есть мать злая алчная Бог всевидящий придет возмездие посылочку передаю орехи не отравись рыба не подавись мясо не переешь яблоки улыбнись твои люби-

мые ранет кулич посвятись носки натянишь духи надушишь
мыло умойся варенье оближись наперед поздравляю с днем
рождения думаю тебе понравится носи на здоровье да не за-
бывай свою мамку звони почаще очень скучаю тяжело рабо-
таю с ног валюсь хочу к тебе люблю Толечка сделал фото ви-
дишь я держу в руках маргаритку а солнышко мешает смот-
реть все все наконец я теперь бабушка радость какая...

Прочел: “The place was full of ticking, like crickets in Sep-
tember grass” (Комнатка в часовом стрекоте, как сентябрь-
ский луг в кузнечиках). Понравилось. Вспомнил Пастерна-
ка.

*Текли лучи. Текли жуки с отливом,
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.*

Чуть ниже: “...and the day like a pane of glass struck a light
sharp blow... (а день, как лист стекла, звенящий после легко-
го и резкого удара)”. А вот как у Пастернака (о полдне):

*Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча,
Опущенный стекольный ящик.*

Приятно ловить себя на вкусовой последовательности.
Как-то понравилось название одного французского романа
– “Гибель всерьез”. Обрадовался, вспомнив потом пастер-
наковское:

*Но старость – это Рим, который,
Взамен турусов и колес,
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.*

Но самая большая радость случилась со мной на улице. Впереди меня, метрах в сорока, шли женщина и мужчина. Ее тень, походка, неслышимый перестук каблуков растрогали меня. Я подошел ближе и увидел, что это женщина, которую я уже давно люблю.

В один из наездов к близким я нашел в письменном столе отца газетные вырезки его статей. Как ни странно, там были, главным образом, футбольные репортажи и обозрения. В отделе информации отец никогда не работал и спортивные заметки вызвался писать сам. Я прочел их и восхитился. В них были темперамент, знание, фантазия. В одном из обозрений "Гол забить – не поле перейти" – отец дал настолько остроумные и в то же время строгие определения атаки, паса, штрафного удара, что я даже подумал: а не послать ли это в "Спортивную газету" или еженедельник "Футбол – хоккей". Самая ветхая и желтая, как лист из гербария, вырезка была датирована июнем 1949 года. Сколько же лет было тогда отцу: тридцать шесть? Да, тридцать шесть. Вот она.

БЛАГОДАТНЫЕ ПЛОДЫ ВЕЛИКОЙ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Бессмертные произведения Пушкина стали настольной книгой буквально каждой советской семьи. Великий поэт нашел путь к сердцу и разуму каждого гражданина, потому что эта страна, сбросив с себя оковы капиталистического рабства и установив власть трудящихся, свершила на основе советского строя, на основе победы социализма величайшую культурную революцию.

Было время, когда капиталистические страны кичились перед Россией своей "цивилизацией". Было, да давно прошло! Сбылось предвидение великого русского демократа Белинского, писавшего о том, что он завидует внукам и правнукам своего поколения, которым суждено увидеть Россию

во главе образованного мира, дающей законы и науке и искусству и принимающей благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества. Ныне наша Родина является страной самой передовой в мире культуры, светочем цивилизации, знаменосцем самых передовых идей всех времен и народов.

Где уж теперь заправилам капиталистического мира "кичиться" своей культурой! Их "культура" не только осталась далеко позади — она давно погрязла в маразме, выродилась, сгнила на корню. Всегда далекая от народа, органически чуждая ему, буржуазная культура в наше время окончательно обнажила свое лицо — лицо служанки эгоистических, корыстных интересов верхушки монополистического капитала.

В яркий и радостный праздник социалистической культуры превратилась подготовка к отмечаемому завтра 150-летию со дня рождения великого русского поэта Пушкина.

Столица нашей Родины — Москва и славный город Ленина, Украина и Белоруссия, Грузия и Азербайджан, Средняя Азия и Прибалтика, Урал и Сибирь — вся необъятная наша страна от Тихого океана до устья Дуная, от Заполярья до Памира чествует память великого поэта.

Случайно ли это? Конечно, нет! Такова природа, таковы преимущества социалистической культуры, обогатившей, неизмеримо расширившей духовный мир каждого советского человека. При жизни Пушкин мог только мечтать о том, чтобы его имя назвал всяк сущий на земле нашей Родины язык. Мечта поэта сбылась лишь в наше, советское время, когда все сокровища культуры стали достоянием широчайших народных масс.

Год от года, день ото дня все богаче, все обильнее, все разностороннее становится наша советская культура. Растут кадры интеллигенции всех специальностей, вышедшей из самой гущи народной. В высших учебных заведениях нашей страны обучается 734 тысячи студентов, а вместе с заочника-

ми — больше миллиона. 34,5 миллиона советских детей, юношей и девушек учатся в начальных, семилетних, средних школах и техникумах. Непрестанно возрастает сеть городских и сельских клубов, домов культуры, библиотек, театров и других культурно-просветительных учреждений. Множится число выдающихся произведений советской культуры и искусства.

Отмечая юбилей своего великого поэта, народы нашей страны с особым чувством произносят в эти дни его вдохновенные, бессмертные строки:

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Померкла и истлела "ложная мудрость" трубадуров капитализма, твердивших, что эксплуатируемым никогда не обойтись без эксплуататоров, что капиталистический строй "вечен", что трудящимся не хватит "культурности", чтоб построить новую жизнь без капиталистов, на основе сотрудничества и братской взаимопомощи свободных от эксплуатации людей. Измышления этих "ложных мудрецов" опровергнуты всем ходом исторического развития.

Силы старого, отжившего свой век, капиталистического мира еще пытаются повернуть вспять колесо истории. Тщетно! Силы социализма и демократии непобедимы. Великие идеи коммунизма, идеи Ленина-Сталина, подобно яркому солнцу, осветили человечеству путь к счастью и прогрессу народов, к безграничному развитию производительных сил, к всестороннему расцвету культуры.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Как медленно, медленно, медленно раскручивается маховик. Еще минуту тому ты шел улицей, вдыхал воздух и вы-

дыхал слова. Теперь ты дорвался до бумаги — сейчас посыпется, как черешни из-за пазухи. Но потерпи. Еще, еще мгновенье, чтоб вскочить на подножку своей любимой, единственной, невозможно жить без которой, повести на полном ходу. Пусть охнет женщина, пусть пробормочет "сумасшедший", а ты улыбнешься белыми острыми зубами. Разве есть счастье большее, чем писать от первого лица?!

А на террасе девочка с мячом — о Боже! Мяч торжественно летит по дуге, и пальцы неуверенно, словно вспоминая что-то, трогают синюю с красным резиновую кожуру и тяжелеют. Игра в "десятки" с девочкой — с каждым ударом все ловче. Чет. Нечет. Головокружение. Плавно падающий лист в конце лета. Девочка с мячом — о Боже! Сейчас вы расстанетесь. Кончается третья смена. Синеватый — от автобусов — душок бензина, таинственные взгляды старшеклассниц; влажнеют гайморовы полости. А площадка еще забрызгана детьми — за ними приедут машины с острыми плавниками и навсегда, до следующего июня, развезут по мальчику, по девочке, по прозрачному голоску, по исцарапанной коленке, по маленькой и твердой, как зеленая майская сливка, груди. Там, далеко за сугробами уже пружинисто горнит горнист; здесь: охра в горле, помятый обходной в руке. Ты все сдаешь? Ты ничего не оставляешь? Девочка на террасе. Следы ее пальцев, пахнущие земляникой, пять сгустков нежности на пугливой перепонке воздуха. Падающий лист в конце лета. Плющится дождевая капля о ключицу.

Все люди росли в детдоме. Некоторые забыли об этом. Некоторые помнят. Я помню. Вчера я провожал маму. Дул ветер. За спиной была плохая погода. Визжали самолетные двигатели. Всех пассажиров собрали за сквозной железной оградой, а потом повели по бетонному полю. Я плакал. Нелые, с тюками, чем старше — тем младше, они шли поддетдомовски, а где-то впереди маячила спина Януша Корчака. Ночью мне приснилась бесшумная туго спеленутая субмарина. Утром не позавтракал и понял: мама уехала. Сегод-

ня же улетает в Москву девочка "не позже одиннадцати". Те, кто остаются, скучают больше. И еще одно кажущееся наоборот: приехал мой университетский товарищ. Дороги наши совсем разошлись. Мы спорим не словами. Так что его ^Убризд можно приплюсовать к разлукам.

Самый громкий дождь в моей жизни стучал ночью в крышу лагерного корпуса. Колыхались взъерошенные, расхристанные тени деревьев на стенах. Мальчикам в лагере страшно. Девочкам нет. Я в образе девочки: с раскосым именем Ира, с зеленоглазым — Лина, Али — с голосом, словно на одуванчик смотрит. Кто я: воспитатель? ребенок? Я размахиваю подушкой в облаке пуха и перьев и тут же отворяю дверь и кричу себе: "Брось подушку!". В самом тайном — продирались: царапины на щеках — уголке, между листьями, небом и землей мне говорит девочка:

— Ты никому не расскажешь?

Она распахивает кулак. Искрятся зеленые осколки июня, красные — августа, голубые — балтийских вечеров. Обжигая подушечки, ты подносишь их до ресниц, до рези. Мы откапываем яму. Мы схороним эти стекла, чтоб маяться зимой, чтобы хотеть вернуться сюда, по-оленьи разгрести снег, чтоб брызнули наши ягоды. В восточных сказках юноши развязывают котомки, и пока ветер разносит их годы на все четыре стороны, юноши на глазах превращаются в стариков. Разноцветные стекла. Наши секретики. Пусть и через тысячу лет распахнется девочкин кулачок.

— Нет, никому. Никогда. Ни за что.

Помнишь ли время, Игорь? Нашу первую учительскую зиму в Карпатах. Белизна и хруст. Мы прибежали с пересохшими ртами после шестого урока в расстегнутых — в интернате все рядом — пальто и, отбросив общие тетради с поурочными планами, подносили синие от холода и мела пальцы к трем никогда не выключаемым электроплиткам, трем раскаленным крабам, и пальцы оживали. Потом наливали упругое вино в кружки и с лязгом чокались, выбивая искры.

Об оконные стекла позвякивал вязкий январский воздух, а ты улыбался летучей, как запах вина, улыбкой. Вечером приходили братики Слыжуки и пятиклассница, в которую мы оба были влюблены, Орыся Терен. Свет и тепло в ее глазах и дыхании; за хрупкими лопатками — астральный холод и тьма. Мы занимались английским. What is it? It is a pen. What is it? It is a book.

Девочка, ты не звонишь мне из Москвы. Забежала твоя подруга, принесла книгу. Она ничего не помнит про себя в лагере, кроме ночного дождя. Я вернулся к уже написанному абзацу и вставил предложение про дождь.

Кончается третья смена!

— Я не подпишу вам обходной, Люстрин, — говорит кастелянша, — у вас недостает двух наволочек.

Я поворачиваюсь и бегом устремляюсь назад. Тихо и пусто на поляне сборов. Одиннадцать вечера. Я поправляю простыни на своих мальчиках; они уже спят, и сны про Черную руку повергают их в сладчайший, тишайший ужас. Ворота с кустарной надписью "Жемчужный берег". Мы спускаемся гурзуфскими винтовыми улицами, и вот уже море бросает к нашим босым ногам охапки белой сирени. В полдень на этом отрезке пляжа, дрожа от нетерпения, ждали дети команды плаврука: "Раз. Два. Три!" Мы плывем, разгребая густую, как ночь, воду, и наши тонкие кисти покрываются пузырьками и становятся похожими на две ветки кипящей сирени. Рядом твое смуглое тело. Плеск волос. Как светятся на твоей груди две белые розы, две белые голубки!

А я все бегу. Назад. Назад. В дедушкино лето. Брызнули косточки из зеленого нежноколючего туннеля трубочки; сердце сжалось в кулачок; еще молодой дед; липкие стволы черешен; густые капли винограда; я целую его в улыбку. Деда, у меня болит зуб. Он — сухопарый, фельдшер, высокий, в белом халате, перед замкнутой дверью кабинета, с гвоздем в руке, ах, поцарапался, а двери уже отворены, скрип застекленной дверцы, воскресенье, ярлычок "кам-

формное масло”. Я спасен. Вечером на ступеньках санаторного домика я играю в подкидного с медсестрой Валей при свете ее халата; ничего, ничего не видно — ни моих, ни ее карт, а мы все играем, как под гипнозом; ее лицо рядом; затмение луны; поцелуи — зайчики по лицу. Потом она смачивает платок слюной и стирает помаду с моих щек и губ; ярче помады горит мое лицо.

— Деду ни слова, — то ли ласково, то ли с угрозой шепчет она.

Кончается третья смена. Завтра закупорят окна, заколотят двери, повесят на ворота тяжелый, как остановившийся маятник, замок. Я сажусь в последний автобус. Перечитываю написанное. Оглядываюсь в последний раз. Наволочек я не нашел. В бухгалтерии обкома союза у меня вычтут за них из зарплаты. Глупо, но что поделаешь?

Кьеркегоровское ”собственно человеческое — это страсть” растворено в романе, как соль.

Иногда вечером среди светящихся городских окон замечаешь душераздирающе яркие. За окном Фолкнера — все лампочки мира. Об энергии художника говорить трудно: она неуловима, ибо проявляется не в сюжете, не в мотивах, не в так называемой идее, и в то же время она пронизывает все. Книга может быть вторичной, банальной, на грани пародии, но если в ней есть писательская энергия, от книги трудно оторваться. Эта энергия диктует особый ритм: синтаксический, образный, событийный. Романы Достоевского похожи на историю болезни эпилептика. От приступа, с судорогами и битьем головой о землю, — через ремиссию — к новому приступу. От грандиозного скандала, после которого, казалось бы лучше умереть, чем появиться в следующей главе, — через затишье — к еще более грандиозному скандалу. Энергия Фолкнера реализуется в монтаже; он стыкует нестыкуемое; это относится к искусству сталкивать слова, предложения, ситуации, персонажей. Только искры сыплются. Весь объем

своего романа он держит на весу. Он непредсказуем. Что ни слово — снег на голову.

Найдите-ка у Фолкнера незначительных родителей. Они могут быть слепцами, фанатиками, пьяницами, но они всегда во всех фолкнеровских книгах значительны. В этом — отношение писателя к прошлому. Корням. Один из героев романа "Свет в августе", священник Хайтауэр, читает своим прихожанам необычные проповеди: в них Иисус Христос смахивает на отчаянного наездника, библейские легенды переплетаются с рассказами о военных подвигах южан, а земля иудейская пахнет табачной плантацией. Родословная Фолкнера — это родословная юга. Его предки командовали кавалерийскими полками, становились жертвами вендетты, сами хладнокровно разряжали револьвер в грудь врага. Прадед его был не только лихим рубакой (он погиб от руки политического соперника), но и автором бестселлера "Белая роза Мемфиса". Я не о том, что творчество Фолкнера автобиографично. Я об истоках его энергии. "Кровь старше нас", — писала Марина Цветаева.

Две силы раздирают "Шум и ярость" — центростремительная и центробежная. Это относится и к "как" и к "что". Образы выламываются из романа, "предмет сечет предмет", морфология раскована, синтаксис — разнуздан; этот фактурный драматизм создает атмосферу книги больше, чем сюжетный. Когда-то славная фамилия отмечена печатью вырождения. В семье идиот, самоубийца, алкоголик, злодей. Все погромыживает, позвякивает: вот-вот развалится, как самолет в воздухе. И все же: в романе каждый жест, и ход, и пауза — непреложны, подчинены художественной логике. То, что две трети "Шума и ярости" написаны от лица трех персонажей, — не формальный прием. Таково фолкнеровское миропонимание: "я" — центр солнечной системы; эти "я" пересекаются, но не совмещаются; они приговорены к одиночеству и непониманию, но, невзирая на приговор, пытаются преодолеть их.

Некоторых писателей хвалят за сдержанность, вкус, умение владеть своими порывами. В контексте десятилетия чья-то сдержанность и впрямь может показаться чуть ли не мужеством. Но. Писать сдержанно — это заведомо играть на ничью. Избыточность — мета гения. Фолкнер играл на выигрыш — без верхнего предела в счете.

В одном развлекательном фильме английскую принцессу интервьюируют корреспонденты. Где Вам больше всего понравилось во время последней поездки по Европе? На традиционный вопрос должен последовать традиционный ответ. Мол, Брюссель хорош тем-то, Цюрих — тем-то. Принцесса так и начинает, но потом срывается и восклицает: "Ну конечно в Риме!". Принцесса была счастлива там, потому что любила. Спору нет: интересны, значительны Гессе, Беккет, Антониони. Прекрасно, что они есть. Но. Но. Конечно же Фолкнер. Феллини. Пастернак. Рим!

Новаторство — это качественный сдвиг традиции. Джойс и Фолкнер были бы невозможны в англоязычной литературе без Шекспира. Это он работал с языком по-мясницки. Это его руки по локти в языке. Что ни строка, то белый карлик. Сплав страсти и дурного вкуса.

При чтении разбегающейся прозы Фолкнера мысль о бесконечности и безграничности Вселенной становится осязаемой и реальной.

Внутренняя коллизийность искусства заключается в том, что художник пытается духовное выразить через материальное. И вот какая странная штука получается: чем предметней и вещней произведение искусства, тем ближе оно к Богу; чем сокровенней оно — тем общественной.

Уже апрель. Ты вернулась. Идет дождь. Мы стоим у раскрытого окна. Я слизываю капли с ее лица. Я целую воздух со следами ее ресниц и не могу остановиться. Наверно, мы скоро расстанемся.

В ту пору, когда я не только впервые понял, но и ощутил,

что женская кожа и губы отличаются от моей кожи и губ, весь город танцевал под танго "Маленький цветок". Четверо молодых людей с не по моде длинными волосами уже репетировали где-то в Ливерпуле бит-революцию, а мы с какой-то напряженной серьезностью — два к одному, два к одному — перемещались под завораживающую кукольную мелодию, не разговаривая, не улыбаясь. Быть может, из-за этого танго, которое ныне не так уж многие помнят, мы оказались ближе к своим старшим братьям и сестрам, чем к младшим. Так вот, именно в том году, буквально за несколько месяцев до первого инсульта, отец упомянул один факт из своей биографии, который, уже после смерти отца, заставлял меня, по крайней мере мысленно, перенестись в далекую военную зиму, когда отец еще не познакомился — да и знать не знал о приближающемся знакомстве со своей будущей женой, то есть моей матерью. Дело обстояло так. В первую военную осень отец ежедневно обивал пороги военкомата, прося, настаивая, требуя отправки на фронт. Молодежную газету, которую он редактировал, не прикрывали до тех пор, пока фронт не приблизился вплотную. Тогда, наконец, отцу дали два кубаря, но откомандировали не на запад, а на восток, в город Куйбышев. Там тоже никто толком не знал, что с отцом делать: дивизионные газеты были уже забиты журналистами и примкнувшими к ним писателями, которым служба в военной прессе представлялась более осязаемым вкладом в дело защиты Отечества, нежели эвакуация, неустроенный быт временных прибежищ и корпение над бумагой в нетопленных — так что чернила превращались в фиолетовый осколок льда — комнатушках. Нет зрелища более плачевного, чем здоровый безработный мужчина. Отец мыкался, стучал во все двери, пока не достучался. Он получил направление в некий пункт Куйбышевской области, где, как ему объяснили, нуждались в толковом политработнике. Все вышеизложенное я вспоминал, сидя с авторучкой у стола, почти без усилий, хотя слышал об этом десять с лишним лет

назад, вскользь, что вся эта история – назовем ее так – впоследствии окажется для меня несравнимо более важной и значительной, чем она представлялась отцу. Дальше – хуже. Дальше – не события – но отношение к ним, не последовательное изложение, а обрывки фраз, слова, жесты. Голос отца: проволока... подонок... запах селетки и сивухи... допросы. Потом более связно: лагерные ворота, колонны – не с песней, портретами вождей и кумачом, а – под жестяные марши декабря – с обреченностью в поступи, угасшими лицами. И ты, ты, отец, рядом, плечом к плечу, "толковый политработник", рядом с раскосым конвоиром, тебя поставили тут, дали два кубаря, в снеговороте завирухи, бьешь, бьешь правым носком сапога о левую пятку и снова – левым о правую; опущены уши ушанки и тесемки завязаны бантиком; слезы на твоих глазах, щеки пунцовы; папа, ведь правда, это не ветер выбил слезу из тебя и не от мороза зарделась твоя кожа?! Вы, проклятые взрослые, кто жили тогда, почему вы не сгорели в огне стыда?! Вам никогда уже не распустить тесемок – они завязаны мертвым узлом. Так бейте же: левым о правую, правым – о левую!

К весне отцу удалось перевестись в дивизионную газету. Я благодарен ему за то, что он добился этого перевода.

Почему сараевским выстрелом стал для меня Фолкнер, а не, скажем, поздний Сэлинджер, читая которого я никак не могу решить: то ли я это сам написал, то ли это обо мне написано. Как-то Квентин, возвращаясь на каникулы домой, высунулся из вагонного окна и перекинулся несколькими словами с незнакомым негром, сидевшим неподалеку верхом на муле. Разговор получился пустячный, но это был классический диалог двух южан: черного и белого. Почти ритуальный обмен шутками, причем каждый из собеседников соблюдал правила игры не по договору, а потому что эти правила впитал с молоком матери. Фолкнер взял меня не щедростью, не свободой, не мастерством. В последний при-

езд ко мне мама оставила прошлогодней давности фотографии. На них наш сад; на веревке для сушки белья висит целлофановый мешочек в капельках то ли дождя, то ли росы; все залито солнцем: сплошные блики; и две фигуры: трехлетняя соседка Катенька с любимой куклой в руках и я — в лиственных прохладных руках сада, молодой и веселый, словно снимок сделан десять июней тому. Фолкнер для меня свой, не в фамильярном — в самом высоком смысле этого слова. Я работаю учителем и знаю: среди детей — много взрослых; правда, меньше, чем среди взрослых. Фолкнер с упрямством и неистовством мальчика, исхлестанного крапивой и ливнем, пытался разомкнуть литературу на дыханье, на мгновенье, на жизни. Есть замечательные, грандиозные писатели, оставившие после себя всеми читаемые и почитаемые литературные произведения. Фолкнер не писал литературных произведений — их пишут взрослые. А он был поэт.

Я не разбирал его; не учился; не подражал. Я разговаривал с ним — он ведь свой — и вот что из этого вышло. Наверное, что-то получилось живым, что-то осталось тенью. Боюсь, Девочка так и не материализовалась. Я склонен это объяснить тем, что, пока повесть писалась, Девочка была рядом со мной во времени. Быть может, лет через пять или пятнадцать я скажу о ней лучше и точнее. Вчера вечером в чужом доме меня мучила вполне интеллигентная супружеская пара: они требовали объяснить, почему роман "Великий Гэтсби" — хороший роман. С ощущением безнадежности и отчаяния я снова и снова объяснял, буксовал, трепыхался; а они снова и снова не понимали и все ждали чего-то. Я б так и умер там с хрипом и пеной на губах, если б горячий профиль Девочки не крикнул им:

— Он все, все сказал!

Разве я могу написать о ней, как надо? Ведь она еще, слава Богу, не эстетическая реальность, но самая что ни на есть жизнь.

Остались считанные минуты. Я вспоминаю синие, утконо-

дые, послевоенного выпуска автобусы. Как горько нам было возвращаться в них из города, где мы за субботу и воскресенье проматывали месячный заработок, в интернатский неуют. На пятом-шестом часу пути, на крутом подъеме или смертельном спуске, автобус останавливали седовласые просмоленные гуцулы. Они входили в него, как в хату, и говорили "Добры-день". Я всегда завидовал людям, умеющим быстро и решительно прощаться. Вот я стою в передней. Плащ застегнут, шляпа в руке, а я все тяну и тяну. Ну вот – кажется, все.

Март-апрель. Киев

Примечание: цитаты из Фолкнера – в переводе с английского О.Сороки. Журнал "Иностранная литература".

НЕМНОГО О ТЕБЕ, ИОСИП

М.Б.

Однажды Иосип простудился и решил смерить температуру. Однако все попытки сделать это были безуспешными. Оказалось, что у Иосипа нет подмышки. Поначалу он не придал этому факту большого значения. Обыкновенно Иосип во время болезни занимал себя стихосложением. На этот раз дальше двух, хотя и удачных рифм дело не шло: "экий бутуз – Экибастуз" и "перестаньте-ка – перистальтика". "Ладно, – решил он, – заготовочки запомним, а пока обдумаем сложившееся положение". Ему отчего-то пришло в голову, что болен он не простудой. "Да у меня же типичная гангрена", – наконец поставил себе диагноз Иосип. Он просто физически ощутил, как почернела его левая ступня и как эта чернота медленно начала подниматься к щиколотке, по-

ползла к колену. Кровать, столик с лекарствами, малиновым вареньем исчезли, и он понял, что бежит, черный как все, кривыми улочками города Яунде. Иногда голопузые дети кричали ему вслед: "Рикша! Рикша!" Его непривычно широкий нос втягивал горячую воздушную массу. Еще не так давно, когда думал Иосип не на булу, а на другом языке, он влюбился. Иосип и раньше, в отрочестве, порой думал о любви. В мыслях идеалом его была любовница, у которой можно было бы оставить запасную зубную щетку, чтобы спалось спокойно, без тревожного ожидания утра. Но до Гальпериной — так звали его любовь — всем женщинам Иосип предпочитал бабуинов. Он частенько стоял часами в городском обезьяннике и смотрел в клетки. Ворсистые, крепкие руки самок кружили ему голову, щекотали нервы. С недавних пор все свободное время Иосип проводил с Гальпериной. И сейчас, в Яунде, ему хотелось увидеть ее или хотя бы с кем-нибудь перемыть ей кости. Иосип обожал это делать: кости у нее были маленькие, словно точеные, и так нежно тенькали в его неловких пальцах... Потом в комнату вошла мама, и Иосип весь съезжился. Но мать вышла, так ничего и не спросив. Мысли вновь вернулись к подмышке, он даже взглянул туда, где она когда-то была, теперь там зияла бездна. Из нее почему-то шибало в нос фаршированной рыбой. Иосип глядел во все глаза. Почти против воли он поджал колени к подбородку и с криком "одной любовью в мире стало меньше!" пружинисто прыгнул в бездну. Вдогонку неслось эхо: "...овью ...овью ...еньше...".

Да что же это сделали с тобой, Иосип? Ведь ты не забыл еще времени, когда подмышка была на месте, целым-целехонька, и термометр не казался тебе раскаленной сосулькой, когда болеть, плакать, страдать было счастьем? Ты помнишь гибкий резиновый зонд с металлической кисловатой головкой, проворную руку медсестры, твой восторг вперемежку с позывами к рвоте, а после полдня лежания на правом бо-

ку, с горячей грелкой на животе: шесть пробирок, шесть янтарных столбиков, шесть застекленных лучиков твоей желчи, последний – кристальной чистоты, радовали твой не по-детски грустный глаз? Каждый день тогда начинался с "на тебе!", с "однажды...". Кому это двенадцать? Тебе, Иосип. Ты в новом чешском светло-шоколадном костюмчике с перламутровыми вкусными пуговицами. Распахивается бархатный, цвета гнилой вишни занавес. Сестра, сидящая рядом, вся подается вперед, к клубку света на сцене, а тебя вдавливают по локти – как будто ты не в концертном зале, а катаешься на американских горках – в кресло. И тогда в скреждении лучей появляется брюнет, он печально улыбается, его волосы блестят, уйма света, аплодисменты разбиваются о его отважную грудь, он слегка хромает, и начинает звучать музыка, из которой можно было бы сделать десять, нет, сто бархатных, цвета гнилой вишни занавесов и обить все кресла зала. "Парамарибо – город утренней зари". Прощай, сестра! Я не вернусь домой. Прощайте, родичи из Коломыи, родичи из Дрогобыча, красивая учительница английского языка Вероника Петровна – мы больше никогда не увидимся, я уезжаю в Парамарибо, не дождавшись рассвета! "А сейчас я спою песню моего друга, которую он посвятил одной женщине". Слышал ли ты когда-нибудь потом, Иосип, такую тишину, что воцарилась тогда в зале?! Люди разучились дышать, сердца – стучаться. И он запел, и ты сразу понял, что вступление было всего лишь – пусть наивной, пусть благородной – но уловкой, что сейчас этот прекрасный и гордый человек под музыку рассказывает о себе, о самом главном в своей жизни, и когда он без надрыва, даже не спел, а просто сказал: "Поцеловать мне хочется дочку твоей глаза", слезы покатались по твоим щекам, и сестра тоже не выдержала, щелкнула позолоченным замочком ридикюля и осторожно прижала надушенный платочек то ли к носу, то ли к глазам. Никогда, ни прежде, ни после, она не была тебе так близка, как в эти минуты. Через год, когда ты стал чемпио-

ном школы по столицам, когда ты всех, вплоть до старшеклассников, заразил этой бессмысленной игрой с выныриванием из-за огромных вазонов с пальмами, из-за вешалок раздевалки, где стоял душный, дерущий горло запах от просыхающих пальто, из-за брусьев, баскетбольных щитов, сложенных в штабель, покрытых гусиной кожей матов в огромном и холодном спортивном зале с коротким вопросом: "Камерун?" или "Княжество Лихтенштейн?", ты узнал, что Парамарибо -- столица Голландской Гвианы. Ты узнал это не от учителя географии, мир праху его, а от новенькой, с которой дружил не только в первый день ее прихода -- в первый день с новичками дружат все, -- но и во второй, и в двухсотый.

Вещи собраны с вечера. Такси заказано на шесть утра. Тебя будят, ведут в длинную, узкую кухню, все соседи еще спят. Глазам колко, словно ты пьешь газированную воду. Рыхлый мартовский воздух сыплется из форточки прямо на голую спину. "Мойся не пальцами, а ладонями, -- говорит мать, -- не моешься, а просто гладишь себя". Сипит кран, на газовой плите кипит вода в чайнике: холодно, горячо, холодно. Спадает плечико майки, руки мокрые, глаза залеплены мыльной пеной. "Мама, подыми мне плечико". Она подымает, целует в спину, ее поцелуй стекает по позвоночнику, подпрыгивает, дзинькает. Снежной бабой в ночной рубаше проплывает соседка в туалет, где гроздь лампочек символизирует коммунальную дружбу, выходит через три минуты, плотно прикрыв за собою дверь, ведущую к Ниагарскому водопаду, в Канаду, в сосновые леса, битком набитые гризли, в Северную Америку, где у каждого костра белые мальчики на коленях у скупых на слова краснокожих жуют солонину. Ниагара стихает. Полотенце дерет щеки. Дымится крепкий чай, чай-крепыш, чемпион республики по акробатике среди юношей. Ты глотаешь его, Иосип, и становишься прыгучим и мускулистым. Пора! На автостанцию вы приез-

жаете за час до отправления автобуса. Ты даешь себе слово, что когда вырастешь, будешь приезжать к автобусу, поезду, самолету, теплоходу, фуникулеру, велосипеду, самокату, дрожкам, бричке, мажаре, журавлю, серому волку, блохе тютелька-в-тютельку за минуту до отправления, чтоб не томиться, не кунять, не слоняться. У плит всех вокзалов есть одно навязчивое воспоминание – воспоминание о блевотине. Десять часов везут тебя в специализированную клинику и привозят. Вот твоя койка с сырым, чистым, но почему-то серым бельем. Пододеяльника вовсе нет. От одеяла тебя отделяет простыня. Ночью она сбивается в комок, и ты просыпаешься в объятиях грубошерстной материи, просыпаешься не полностью, а только кожей, локтями, коленями и сомкнутыми веками. До утра жалеешь остатки сна и мучишься, не зная, расправлять ли простыню. Дно верхнего ящика тумбочки покрыто пожелтевшей, хрупкой бумагой, края ее отклеились – здесь ты будешь хранить мыльницу, зубную щетку и пасту. Фанерная перепонка внутри тумбочки липкая, тот, кто пользовался ею до тебя, любил консервированные абрикосы. Твоя койка и тумбочка отгорожены от других боксов прозрачными плексигласовыми стенками. Вот ты стоишь в выстиранном чужом тряпье, волосы мокрые, лицо покраснелось – только что ты принял душ. Рядом женщина в белом халате – то ли няня, то ли сестра. Когда после обеда, во время "мертвого часа" все лежат, она бесшумно скользит от бокса к боксу и если увидит, что кто-нибудь спрятал руки под одеяло, начинает шипеть. Придется тебе, Иосип, привыкнуть к тому, что держать руки под одеялом глупостно. На тебя все смотрят, девочки и мальчики, а глаза твои слипаются, тебя укачало в автобусе. Подымают рано: в умывалке для каждого приготовлен содовый раствор, им надо полоскать горло. Раствор все ненавидят, но выливать почему-то боятся. Какая-то девочка просит тебя полоскать горло ее раствором. Ты не можешь отказаться, положишь и тут же начинаешь мечтать о том, чтобы она умерла.

Это повторяется каждое утро. На вторую неделю она присылает тебе записку: "Я люблю тебя, как хлеб с маслом и с медом". Свет не выключают ни днем, ни ночью. Записку передают через мальчика с распухшим черепом. Еще неделю ты с остервенением пишешь ей ответ, каждое утро полощешь горло, захлебываясь от ненависти, двумя порциями раствора и когда в конце записки ставишь точку и крест, чтоб больше не подходила, чтоб катилась на все четыре стороны, проваливалась, вытряхивалась, мальчик-почтальон умирает, но еще целый месяц на рассвете забывчивая няня ставит ему на матовую подставку стеклянный памятник — стакан содового раствора. Как ты боялся, Иосип, этого стакана. В липком мареве, в катящемся снежном шаре, под набухшим водянистым небом, облепленный соленой рисовой кашей, на зыбкой земле, при тусклом, как многожды использованный горчичник, свете жил ты, Иосип, любимый, как хлеб с маслом и с медом, девочкой с вывернутыми в форме буквы "х" ногами, пока наконец шесть пробилок, шесть янтарных столбиков, шесть застекленных лучиков твоей желчи, последний — кристальной чистоты, не растренькали на весь мир, что ты здоров. В мае за тобой приехала сестра, ты протянул ей счастливую ладонь, с восторгом выигрываясь в роль младшего брата, ловя каждое слово, повинуюсь ему. Жаль, что игра так скоро наскучила.

А ну-ка, кто отгадает, почему первой смене ты предпочитал вторую? Думайте, думайте. "Потому что родителей дома нет". Холодно. "Потому что можно поспать". Так холодно, что простудиться можно. "Потому что утром... — о, это уже теплее, — можно пойти... — горячо, горячо! — на первый сеанс в кино!" Горим, вызывайте пожарную! Конечно, после пятого или даже шестого урока тоже можно отправиться в кино, если успеешь что-нибудь перехватить — это обязательно, ибо от голода голова так разболится, что не мил ни экран, ни свет белый. Наскоро поев, надо попытаться взять

билет на сеанс не позже трех часов 55 минут, потому что пятью минутами позже, т.е. в четыре часа цена на билет повышается, и стоит он уже не десять и даже не двадцать пять копеек, а минимум — тридцать. Если же ты замешкался по собственной или родительской вине, то последний сеанс для тебя — семь часов 55 минут, и дело тут не в том, что позже цены вновь повышаются. Восьмичасовой сеанс — это конец, катастрофа: тебя на него просто не пустят, потому что ты "...до шестнадцати лет". Семичасовой же сеанс ненадежен и, вообще, редок. Его предпочитают клубы и Дом офицеров. В клубах показывают ужасно, да и фильмы там идут не ежедневно. В Доме офицеров, сколько бы зрителей ни пришло, зал всегда полупустой, ибо огромен, там одиноко и слышно плохо. Есть еще одно местечко — там пускают всех и в любое время: краеведческий музей, нищенствующий и побирушествовавший. Но в него идешь либо заведомо зная, что посмотришь фильм в третий раз, либо зимой, когда из-за карантина детей не пускают в кинотеатры. Помнишь, Иосип, с чего началось для тебя кино? Может, с вопроса, которым сестра встречала откуда-то возвращающихся субботними вечерами маму и папу: "Ну, как фильм?" Чаще всего отвечала мама. Если она говорила "хороший", то ты думал, что фильм похож на добрые руки и глаза бабушки, которая не раз обещала тебя съесть; если "тяжелый", то ты вспоминал песню, в которой насупленного, увешанного бряцающими латами, бородатого мужика по имени Ермак, сидящего ночью на берегу реки, обступали люди, одетые в шкуры, с маслянистой кожей и раскосыми глазами, хватали за руки — за ноги и бросали в омут. Ох, как долго еще кипела вода в реке. В первый раз увидев кино, ты понял, что началось оно для тебя не с сестрино вопроса и маминых ответов, а с трофейного, привезенного дедушкой из Австрии настенного коврика с висюльками. Коврика ты боялся. Он был и впрямь мрачноват: ночь, плотоядные звезды, озеро и на берегу его, в долине, окруженной тучными мясистыми, еще чернее ночи

деревьями одноэтажный дом со стрелчатой крышей и одним, едва мерцающим окошком. Милая немецкая сказка. Лето ты любил не за тепло и легкую обувь, а за то, что оно упраздняло многие проблемы, связанные с кино. Кроме того, уже в мае открывались летние кинотеатры. Можно было сидеть в парке на скамейке, под высоким сплошным дощатым забором и наслаждаться особым, ни с чем не сравнимым кинематографическим шорохом. Ты любил его больше голосов. Из окна шестого этажа дома, где ты жил, был виден кусок экрана летнего кинотеатра. В жестокой борьбе ты отвоевал себе край подоконника, откуда видно было лучше всего. В июле из-за пышных крон деревьев приходилось только угадывать, что происходит на экране. Это было похоже на графическую игру "найдите на рисунке в чаще леса семь велосипедистов". Так как ходил ты на все без исключения фильмы, то название и страну, взятые в скобки, ты принимал к сведению с какой-то возбужденной безнадежностью. С тяжелым сердцем шел на латиноамериканские фильмы про беспросветные бесконечные каменные стены; на фильмах студии "Баррандов", с пейзажами, подернутыми поволокой, проникнутыми вселенской нудьгой, тебя укачивало, как в автобусе. Кинокомедий и смеха в зале ты не выносил. Но хуже всего были снятые на пленку двухсерийные театральные спектакли. Казалось, титулованные, именитые черепахи смотрели с экрана на тебя и ждали, чтобы ты что-то сделал. Три часа вы единоборствовали, и еще до того, как появлялось слово "конец", ты почти бежал к выходу, над которым, как перед рентгеновским кабинетом, горели крупные красные буквы. С одиннадцати лет, с рвением фанатика ты, Иосип, пытался ходить на фильмы "только для взрослых". Помнишь ли ты картину под названием "Мадемуазель Нитуш"? Билетерша сказала, что впустит тебя только с разрешения администратора. Ты сделал вид, что направился к администратору, и, переждав за углом минуту-другую, вернулся с гордо поднятой головой. Ложь

была явной, на что ты рассчитывал, один Бог знает. Билетерша сняла телефонную трубку и набрала номер администратора. У него было занято. "Постой здесь, — сказала она, — сейчас он придет". Ты стоял, дрожа всем телом, рядом с ней, и как только тебе показалось, что она забыла о твоём существовании, проскользнул в фойе. Буфетчица с треском откупоривала лимонадные бутылки. На зубах хрустели вафельные стаканчики. Из двух квадратных, обитых черной материей ящиков тонкий, как капроновая кофточка, женский голос пел "ландыши, ландыши..." Открыли дверь в зрительный зал. Ты не суетился. Ты был спокоен и хладнокровен. Ты сел во втором ряду, скрестив руки на груди. Потом появились билетерша и администратор. Они стояли прямо над тобой и, как два прожектора, прощупывали взглядами всех зрителей. Зал раскалялся от возмущения. Киномеханику отдали распоряжение отложить демонстрацию до поимки преступника. Неожиданно сидевшая рядом старушка взвизгнула: "Да вот же он, разве вы не видите?!" Тебя вели — спереди билетерша, администратор сзади — по длинному проходу, разделяющему зал пополам, под торжествующие вопли взрослых. Ты видел перекошенные лица триумфаторов: профессора Гальперина, председателя горсовета Самшитова. Как же, ты был ребенком из хорошей семьи, сыном всеми уважаемого врача. И тогда ты собрал все свои силы, подпрыгнул к самому потолку и мертвой хваткой вцепился в огромную, в двести лампочек люстру. Она зазвенела и качнулась. Началась давка. Женщины верезжали. Какой-то солдат кавказского происхождения прямо под люстрой, на полу, откуда все схлынули, насильново пожилую даму. Никто не рискнул к ним приблизиться — люстра держалась на волоске. Свет потух, не медленно, а мгновенно. Киномеханик запустил аппарат. Замелькали титры. Мадемуазелью Нитуш и не пахло. Под развеселый оркестрик шла какая-то забубенная отечественная комедия: стадо баранов неслось по газонам к классической, с колоннами усадьбе; бараны выши-

бали окна и двери и цокали копытами по выложенным изразцами полам. Еще несколько дней ты жил в страхе, что кто-то расскажет отцу о происшедшем. Но в тот раз все обошлось. Как-то в начале июня ты собрал все свое мужество и явился в кинотеатр повторного фильма. Ты умышленно выбрал именно этот кинотеатр, а не центральный, потому что фильмы в нем меняли каждые два дня. "Ты мне нравишься, мальчик, — сказал художник, — я буду платить тебе двадцать копеек". Так решилась твоя судьба. Теперь три раза в неделю тихими фиолетовыми вечерами ты шел переулками, дворами, ходиками с еще влажным, пачкающим руки, шершавым плакатом, чтоб заменить им прежний, уже отживший свою короткую двухдневную жизнь. Все было бы прекрасно, если б тебя не преследовали лилипуты. Кроме них в городе жили цыгане и карлики. Все карлики работали в сапожных мастерских. В клеенчатых передниках они сидели там на маленьких, круглых стульчиках, погромыхивая увесистыми молотками. Их было трудно отличить друг от друга, и лишь один из них, Леонид, снискал популярность и славу. Из года в год он становился чемпионом страны по вольной борьбе в наилегчайшем весе. Его стремительные проходы в ноги были неотразимы. Однако к международным соревнованиям Леонида не допускали. В Федерации считали, что своим видом он бросает тень на нацию. Леонид отличался веселым, легким нравом. Он задирали на улицах женщин, частенько насиловал их, благодаря чему и заслужил уважение большинства мужчин. Прислушивался он только к своему тренеру, Ивану Прокоповичу. Порой Иван Прокопович увещевал любимца: "Полно, Леонид, где же были твои глаза? Таким дурным вкусом ты еще не блистал". Карлики не любили детей, но и не трогали их. Лилипуты же, при всей своей грациозности и интеллигентности, детям не давали проходу. Жили лилипуты за квадратными деревянными дверцами в полуподвальных квартирах без окон, в общих коммунальных домах. Гуляли, обыкновенно, после полуночи. Тихими фио-

летовыми дворами, вечерами, ходиками, с черным по белому:

РАПСОДИЯ

В главной роли Элизабет Тэйлор

ты крался, прячась от лилипутов, и в каждом дворе непременно было окно, где какой-нибудь бледный юноша пиликал на скрипке. Так ты шел и, казалось, там, где появлялся, начиналась музыка. Одного из этих бесчисленных юношей ты знал. Он приходил к твоей сестре, чтобы она переводила ему на английский язык письма к дяде, живущему в Америке. В них юноша просил дядю, родного брата матери, прислать вызов — семья хотела уехать к нему, в Бруклин. Сестра хмурилась, но переводила, потому что юноша был красив. В знак благодарности он милостиво предлагал сестре в конце письма перечислить книги, которые она хотела бы получить из Америки. Она перечисляла, заглядывая в разные словари, чтоб не дай Бог не написать неправильно фамилию любимого поэта или прозаика. На прощание он целовал ей руку, а вернувшись домой, старательно вычеркивал фамилии поэтов и прозаиков. Этот юноша чуть было не добился своего, но подвела мать: повесилась. Впрочем, это уже "только для взрослых". Осенью деревья страдали одышкой. Ты брал маленький синий лоскуток — "во втором ряду, пожалуйста" — и, зажав его в ладони, в карман прятать не хотелось, а в другой ладони — несколько монеток сдачи, спасаясь от астмы, улетали птицы, казалось, не летят — опадают на юг, выходил из кассы, огибал здание кинотеатра, пахло галошами, парки опивались акрихином, с синим лоскутком в руке тебя никто не смел задержать, ты просматривал в фойе подшивки газет, сшивали их плотно, листать было трудно, читать, особенно в середине, невозможно, приходили оркестранты, бледные юноши и грузные мужчины, "мы начинаем наш маленький концерт", лучше всего у них получалась эстрадная пьеса "Джозеф". Когда они кончали — "спасибо за внимание", — служительницы отдергивали с дверей

волнистые шторы. Шторы с перезвоном скользили по карнизам, в открывшиеся проемы устремлялась толпа, оркестранты за плюшевым занавесом о чем-то смеялись, потом бежали в буфет. Свет еще брезжил, а на экране уже вертелся земной шар, косо падали листья, во многострадальной Флориде вновь бушевала стихия, по темному залу летали перепончатые зонтики, галерники готовились к бунту, но почему-то все медлили и медлили. Иногда ты выходил на улицу, еду три раза в день мама приносила в кинотеатр, пускали ее без билета – служительницы ей сочувствовали, ты быстро хлебал бульон, обгладывал крылышко, как-то заметил снег на маминой чернобурке и понял, что наступила зима. Забегали одноклассники, рассказывали новости. Лишь отец никак не мог примириться с изменениями в твоей жизни. Иногда ночами с тобой оставалась солистка, ей было одиноко, она говорила, что любит тебя, и делала с тобой, что хотела, галерники готовились к бунту, во Флориде не утихал ураган, оркестранты поздравляли зрительниц с днем международного женского праздника, деревья дышали полной грудью, наконец, пришла сестра и вырвала тебя с мясом, как новенькую пуговицу, из этих шевиотовых ночей, атласной, как карты, женской кожи, туго натянутой над сценой простыни, и бросила к ногам живого человека, на заре, в городе Парамарибо.

По росту становись! На первый-второй рассчитайсь!

-- Первый.

– Второй.

– Первый.

Ах, Иосип, ты маленький, ты каждый месяц прижимаешься спиной к кухонной двери и просишь сестру приставить твердую книгу к твоей макушке и чиркануть карандашом, чтоб после мягкой, резиновой на вкус лентой, вымерить свой рост, четвертый с конца, зато позади, в нескольких шагах, бежит эта, новенькая, из музыкального интерната, у нее

самая открытая майка и внизу не как у всех. Огромные окна зарешечены, в центре зала Иван Прокопович: раз-два, раз-два. Прижаться горячей щекой к гладенькой прохладной парте, она говорит тебе: ну, сыночек. Только не смотреть вперед, не видеть, как входит Вероника Петровна, “Good afternoon, children!”, голая, садится к окну, закидывает голую ногу за ногу, ее белая грудь застегнута на два бисерных перламутровых сосочка. “Who is absent?” Слава Богу, нету мела. Сначала отдышаться, стереть пот со лба, потом, перепрыгивая через две ступеньки (как тихо), спуститься на первый этаж к техничке за четырехгранником мела, там, в холле, между стенами еще мечется мячиком, запущенным изо всех сил, звонок. На ходу буцаешь его. Входишь с мокрым от дождя лицом, опухшим, потому что утро, в пальто наклоняться неудобно, силой суешь грязные галоши – подкладка на пятке и в носке темная, как давленная малина – в мешок, стягиваешь горло мешка резинкой. Приставными шагами по периметру зала – бегом! Вешаешь мешок, на него пальто, он торчит, пальто – сумчатое, кенгуру. Дышать надо полной грудью, потому что Вероника Петровна голая, даже не нужно пересаживаться на первую парту и ронять ручку на пол – и так все видно. Отмстить неразумным хозарам. “May I come in?” Ты входишь, после шестого урока от голода болит голова, но есть не хочется. Все веселые и находчивые в сборе. Они шутят – подтверждают, что не напрасно взяты в команду. Месяц шутят, никто ничего не может придумать, только ты, Иосип, кровь восточная, первые усики в классе, отчаянный весельчак, все расскажешь, покажешь и придумаешь. Правую руку поднять, согнуть в локте, левую – за спину. Меняя положение рук, шагом марш! “когда уже светало” – придаточное времени. Лыжники приехали на трассу. Разыгрывалось первенство мира среди школьников. Начиная с восьмого класса, несколько девочек всегда отсутствовали на уроках физкультуры. Почему? С чьего разрешения? Клацали блестящие крепления,

скрипел снег, Вероника Петровна куталась в белую шубку. Было жарко, сразу жарко, а не к середине. Приветствие у соперников оказалось лучше, на сцену они спускались на парашютах, им дали восемь очков, один парашют не раскрылся, но гибель члена команды не омрачила настроения. Иосип, эта, новенькая согласилась дружить со мной, что мне ей написать? Спроси у нее позволения, Самшитов, поцеловать себя. "Thank you, Iosip. Take your seat". Пальцы от мела сухие и белые; когда прикасаешься ими к промокательной бумаге – в горле першит. Ты кладешь ладонь на соседнее, не твое колено, она крохотная, у нее на боку белая квадратная сумочка с шелковым красным крестом, теперь и колено у нее будет белое. Тебе в какую сторону? В другую. Только облачко от стартового пистолета. Поначалу лыжи прилипают к снегу. Можно я тебя провожу? Она молчит пять минут. Потом говорит "да". Вот вы поравнялись с киноафишами. Ты читаешь, забываешь обо всем на свете, она уходит – черный портфельчик бьется о загорелую ногу, стоит сентябрь, еще шумят своим синтаксисом деревья, в какой запредельной тьме решалась судьба этого сентября?, она уходит, "Дон Сезар де Базан", о ее загорелое, "Без вести пропавший", в ссадинах колено – навсегда, Иосип. Зато на разминке вы отыгрались. На их вопросы ты за две минуты придумал ответы лучше, чем они подготовили заранее.

– Собрались в диспансер, сэр?

– Нет, миледи, в диспансер.

Белая шубка, сброшенная на голое тело, рифленый след лыжни финна Урхо Куусинена, так вот оно что: он смазал лыжи запрещенным маслом, знаем, когда-то один француз, соперник Ивана Поддубного, натер свое тело, чтоб невозможно было ухватиться таким же маслом. Куда же смотрит судья международной категории Гальперин? Главное – не торопиться. Дождаться танго, вальс или фокстрот кончаются

для тебя позором. Вот ты подходишь, едва прилаживаешь руку с бледными чернильными подтеками к ее спине — хлопок возле уха, вас разбили; глупый, что же ты не разбиваешь других? Вверх по скрученному вчетверо канату, зубами, ногтями. Не махлюй, Иосип, я же сказал без помощи ног. Канат повис на тебе, канат плачет, его поникший чуб ластится к полу. Отмстить неразумным хозарам. Нарисуй мне осину, ветку, лист — это не для пятерки. Своей рукой нарисуй в моем "Альбоме для рисования" лист, ветку, осину — перед тем, как к тебе прикоснется Самшитов, пожалуйста. Не бойся, зайди в кабинет к зубному, твоя очередь, все уже умялись, ожидая, не бойся, сядь в жесткое кресло и смотри в наполовину покрашенное окно, я выбегу во двор, я буду прыгать перед этим окном, залезу на дерево, буду выделять такие фокусы, что ты даже не заметишь ни бормашины, ни щипцов. "Готово, девочка! Следующий". Первым номерам опуститься на руки, вторым взять первых за ноги. Поехали! Ты выпрыгиваешь из автобуса на редкую, карликовую траву, бряцают лезвия лопат. Ты устала? Брось лопату, это школьный сад, это я. Это я окопаю твои яблони и останусь здесь жить, чтоб весной красить стволы известкой — она будет стекать по морщинистой коре на сырую комковатую землю, и я отбегу и увижу сразу, целиком новенький, белый сад. "Лыжню! Лыжню!" — хрипишь ты. Все смеются. Жюри просит капитанов повернуться спиной к залу. Ты ведь вежливый мальчик, ты извиняешься перед болельщиками за то, что вынужден повернуться к ним спиной. Все смеются. Придется жюри подкинуть тебе пару очков за воспитанность. Конец ноября, праздник окончился, листья расходятся. Но когда же, когда очередь твоих горьких и ее, нарочно натертых ореховой кожурой, губ?, вырывает руку, исчезает в своем подъезде.

Сгущалась мгла. Мороз крепчал.
Пробило пять утра.

– Я поведу тебя в подвал, –
Сказала мне сестра.

Жюри хмурится, зал смеется. Урхо Куусинен внезапно поворачивается и сшибает тебя ударом двух сложенных вместе палок. Кто это рассыпал по снегу красный горох? Белая шубка. Деревянными пальцами ты сбрасываешь сломанную лыжу и надеваешь запасную, твое наискосок натянутое тело устремлено к победе. Еже-еже, утренне-вечерне, такими повторами: еже-еже: валят столетние дубы, ты суешь грязные галоши в мешок и яростно затягиваешь его горло резинкой. Напишите дату. Под ней: Изложение. Когда буду читать во второй раз, можете делать заметки. Теперь положите ручки и слушайте: "Лыжники приехали на трассу, когда уже светало...". Изложения не будет. Будут стихи. Ты выводил их

Кино отсыревшие стены.

на белоснежном листе,

Последнего ряда места.

надписываешь ее фамилию, передаешь, вот плывет из рук в руки твоя амфора,

Единственно стоящей темы

если разобьют, ты покончишь с собой, благо в уголке воротника есть ампула с ядом

Касались и наши уста.

Она хохочет вместе со всеми, даже жюри тебе аплодирует.

Это что — вы еще покажете ”домашнее задание”. Впереди падает Урхо Куусинен, нелепо трясет поднятыми вверх ногами; не останавливаясь, почти не глядя в его сторону, ты кидаешь ему свою последнюю запасную лыжу, это видела только белая шубка, уже распахнутая от горла до пупка. Отмстить неразумным хозарам. Иван Прокопович становится в центре зала. Эстафета с мячом. Первым номерам построиться по правую руку от меня, вторым — по левую. Сейчас начнется. “Children, the lesson is over!”. Ты выходишь из здания. В дальнем углу двора горит костер из учебников, тетрадей и дневников, вокруг бегают первоклассники. Их возбужденные, раскрасневшиеся лица в пепле. У кирпичной стены стоят несколько учителей. Географ с глобусом подмышкой, математик — из его кудлатой головы вылетают черные, пухлые, птицы с буквой ”р” в клюве. Хорошенькая, заплаканная англичанка. Напротив них гвардейцы из 6^а заряжают автоматы. В центре двора костлявая, еще пахнувшая хвоей виселица. Семеро старшеклассников из отряда охраны ведут к ней преподавателя словесности. Он — худой, нестигаемый; ветер треплет седую прядь. Автоматная очередь. Еще одна. Глобус с новыми, рваными островами катится по земле. Из него с пеной вырывается густая океанская вода. Подслеповатая техничка выходит на крыльцо, звонит, все школьники устремляются к двери. Вода все хлещет и хлещет. Прямо по пустынным улицам несутся стаи обезумевших крыс. Победа! Похороны завтра.

А тебе уже шестнадцать, Иосип! Великий певец возвращается в скрещение лучей софитов. Сейчас он объявит тебе все, всему научит, во всем оправдает. Как блещат его набрильянтиненные волосы, какая накладная у него улыбка. Он лжет, лжет. Значит, и тогда лгал. Назавтра весь город узнает, что ночь великий певец провел с известной всем шлюхой Комаровой. Она сама расскажет, как снимал он протез и как жалок был в постели. С нехорошей болезнью уехал он. Так ему и надо! — Правда, Иосип? Что же ты молчишь, мальчик мой?

Откуда ты вышел, как из моря — насквозь соленым? В ответ не слова — огрызки слов: "...овью ...овью ...еньше..."

* * *

В сентябре мое сердце превращается в каштан, твердый и маслянистый. Вот ты глядишь на деревья, и они становятся карими. В этом круто заваренном воздухе осени, под разнобой каштанов, под слепым дождем — я жмурюсь, я улыбаюсь, а кажется, что жмурюсь — поцелуев — спрячь ладонь в карман моего плаща, подними свой воротник, так дует в спину, что ты превращаешься в парусник, и твое имя уже пишется в кавычках, в этом круто заваренном — не бойся, я здесь, с тобой, навсегда — не шелестят вон те, наискосок летящие стаи, не попискивают вот эти, падающие как птенцы, багряные, хрупкие, как моя бабушка в последние дни перед смертью — мама, зачем ты меня привела? — я прижимался к твоему бедру, над нами, перебирая клешнями спиралек, шипела мохнатая лампочка, зачем говорила "поцелуй бабуш-

ку” — меня, как в шторм, отбросило и вдавило в холодный, цвета клавиш, кафель печки — потом, на похоронах, ты сказала это снова, мои ноги прикипели к полу, “не заставляй его, — вмешалась приехавшая тетка, — Гена — взрослый мальчик. У него есть сила воли и мужество. Он сам подойдет и простится с бабушкой” — как я возненавидел эту тетку, но еще прежде, отпрянув — и музыка кончилась — от кафеля, я оставил на бабушкином виске гашеную марку — прощай, булька! — листья — “хлопок одной ладони” — ты слышишь, любимая, это нам с тобой рукоплещут в круто заваренном, это для нас сталкиваются багряные скорлупки и выбивают искры друг из друга, постой пять минут, я сбегая в иную пору своей жизни, в нетопленные задымленные ремонтные мастерские, где стоял у станка, и когда туда входила женщина, — пусть табельщица, пусть уборщица — все слесаря, токаря и фрезеровщики отрывались от своих верстаков, шпинделей и фасонных, не похожих на снежинки фрез и забывали о своих промасленных передниках и глохли от тишины, я сбегая — меня еще помнят сварщики — и попрошу у них щиток с черным прокопченным стеклом, потому что деревья очень карие, скорлупки — сталкиваются, а ты — красивая. А ты смотришь уже на снег, и он становится белым, все щурятся и отводят взгляды. В полночь при свете сугробов по аккуратным улицам мой запыхавшийся друг в очках, шапка сбилась — поправить невозможно — в руках радиола, огромная, он идет, покачиваясь, широко расставляя ноги, радиола давит на живот, он идет ко мне, а я приближаюсь в своей комнате — мы ждем его — к его невесте, а он — ко мне, у нее покатые матовые скулы, не Оксана — табун Оксан, на пятый этаж ко мне, каждая ступенька — каждая, пожалуйста, выключи снег, а то я ослепну. Все, все сказать, никаких айсбергов, никаких подтекстов; вот сквозь узкую — рядом на траве валяется доска — щель в заборе мы пролезаем в сад, как хорошо, что это не сон, потому что во сне я непре-

менно застрял бы в этой щели, ты пролезла бы, а я — застрял, и когда преследователи, мощные, прыткие шмели, хоча, подлетели бы — круглые из-под басмачьих шапок глаза — к моему бьющемуся в судороге телу, я бы проснулся — слава Богу, это не сон, это твоя ладонь в моей, я подношу маленький, в форме арки магнит к полнотелому яблоку, подношу кончиками, копытцами, где голо, арку прямо к нарзанной коже яблока — заговор! Снова взрослые нас обманули, никакого железа в яблоках нет, вон висит, не шелохнется; вернемся к проему и сизнова проберемся в тот же сад, у всех в руках по острому режущему куску закопченного стекла, сегодня — затмение солнца, светопреставление, гляди, гляди, придерживая пальцами за самый край, чтоб не смазать дымка, трое мальчиков и две девочки стоят, задрав головы, у четверых — стекла, у одного — руки в бокки — генеральского сына Жиромясокомбината, на носу настоящие темные очки, а со стеклами все равно лучше, и когда над свечой их держали и сейчас — лучше, а лучше всего через сто "потом", когда не темный диск затмевал солнечную диафрагму — смейтесь, дети: сейчас вылетит птичка! — и вылетали черные тысячеletние вороны с расщепленными хвостами и распустившимися отрывками — а моя ладонь затмевала твою яблочную грудь, и земля погружалась во мрак. Под утро остывали клювы малиновок, хозяйская дочь Стефка выбегала по нужде, и пятки ее отвечали на холодный вопрос росы: "нет, нам хорошо". Нет, нам хорошо, когда сидели все вместе на луку, а рядом в реке играли рыбы и дети, и горлом твоим текло виноградное вино, ты наклонялась к бугристой, накинутой прямо на землю скатерти, брала соль, разгибалась, твои волосы опаздывали, потом догоняли лицо и — по ветру — вырывались вперед, ввысь, в сторону, ты смеялась, и вино пьянело от запаха твоих губ. Под утро остывали клювы малиновок, мы дрались с соседским Лодзей — думал: за прямые, как два рулона бумаги, самые коричневые в Залещиках ноги Стефки — просто тогда еще не знал

про тебя — а мой старший брат: веснушек на носу, как морелей в Стефкином саду: зимой от лица его веяло абрикосовым июльским запахом твердых, покрытых бархатным пушком, кисло-сладких морелей — не разнимал нас, смотрел, как же я выкручусь из хлестких кистей Лодзи. Потом все поднимались, рыбы прощались с детьми, взрослые сворачивали скатерть, раскрученная ребячьей рукой плоская галька совершала тройной прыжок по глади реки, шли гуськом, уже на дороге обували сандалеты, стряхивая ладонями песок со ступней, шли врассыпную — дети то позади, то впереди, нахохленными совами глядели из-под ног навозные яблоки, мы оказывались рядом, за плетнями размахивали своими деревянными дверцами похожие на скворечники уборные, я давал тебе привезенные из города стихи про то, как разогрелся воздух, когда я думал о тебе, и в тумбочке, рядом с моей кроватью, лопнул термометр, а воздух все раскалялся, по бледному потолку текла капля ртути, лопнули все термометры в городе, и твой сын по ртутным ручьям пустил белый остроугольный кораблик. Меня относило, сперва медленно, после внезапно, ни дверей, ни подъезда не помнил, выбегал сразу из нигде в сиреневых — вместо шаровар — женских трико, черной ушанке, пахнувшей молью, валенках, припудренных, наверное, сахаром, поодаль сходились два, вертикальный и горизонтальный, сугроба: неба и земли: один чуть серей, другой белей, в центре двора — прямой угол: спортивная лестница — в прорезях между перекладинами сугроб неба, слева ветхие, сплошняком, сараи, едва отворачивался, рядом появлялась Наташа, вся меховая, мы молча шли за сарай и там, в тесном проходе между каменной стеной и ветхими досками долго смотрели друг на друга, потом прикасались щеками и разбегались, останавливались, сходились, без секундантов, прикасались щеками и только тогда понимали, что это щеки, разбегались, в центре двора Емеля — уши ушанки торчком в разные стороны — за трешку взбирался на одной руке на спортивную лестницу,

кто-то приносил карбид, вырывали ямку, туда закапывали жестяную банку с карбидом и мочой, рассыпали по снегу желтые точки, становилось теплее оттого, что кто-то за сараями мочится в банку, роня горячие брызги, потом банка выбарахтывалась из земли и снега, устремлялась вверх, был праздник, все жители города Чита, названного так лишь затем, чтобы в другом городе сорок второклассников окружили новичка и разбежались с криком "он из Читы", коротким магниевым летом жили в парке, взмывали гигантские колеса с привязанными к сидениям сердцами, на каком-то холме, вровень с отрывающимся в небо колесом стояли крепдешиновая мама, чесучовый папа, черноглазый, с бухточками залысин, только подчеркивающими его молодость, и два мальчика в кепи и гольфах, подосиновик и подберезовик, а в двух шагах от них крутился фотограф — смейтесь, дети! Чего достиг ты? — приехав в Киев, спросил меня брат. Я погладил бороду, оглядел свою чужую комнату. Чего достиг ты? Вот, научился ходить по кромке. А больше ничего. Кровь моя! Когда жена стелит ему постель, она кладет две подушки: одну под голову, другую — к стенке, чтобы мой брат не пробил во сне раскаленной лобной костью бетона и кирпича. Мне стыдно умирать: за моим телом приедет брат. Железнодорожники откажутся транспортировать меня. Тяжело дыша, мой побагровевший брат будет бегать по начальникам вокзала, тыкать им под нос свое красное удостоверение, кричать, но они будут неумолимы; тогда он позвонит Мише и Боре, они втроем вытащат меня из гроба, нахлобучат шляпу и пьяного внесут в вагон под хохмочки пассажиров, они так увлекутся, так будут стараться, что забудут, что я мертв, и только мой брат, тяжело дышащий, побагровевший, ни на секунду не забудет, что этот вагон, эта земля и эта Вселенная стали гробом его любимого и единственного, да? Мне стыдно умирать. Я встаю из-за стола, подхожу к чужому буфету, нахожу в стекле насечку для ногтя, отодвигаю стекло и вынимаю два чужих бокала. Иду на кухню и

тщательно мою их; теперь уж точно ко мне никто не придет. Я позову — оцепенело окно, не всплеснет занавеска, дождь замер в пятистах метрах над землей — светись, плещись, отомри — окно, занавеска, дождь — сегодня не вас, сегодня: июнь в Трускавце. На накрахмаленной, с острыми краями занавеске, с изрезанным в дожде лицом я влетаю в отсыревший, пахнущий гнилостными грибами бювет, рушатся окна, выпадают из рук чашки с полыми длинными носиками для всасывания целительной воды "Нафтуса" с протухшей буквой "ф" посерединке, рассыпается очередь. Мне надо торопиться: в сквере мама осталась с мужчиной. Пустите же, пустите, мне только полчашечки, я же мальчик, уступайте детям передние места, а то перестреляю, вот, забрызгал шорты, бегом назад. Как покойно они говорят, медленно откинувшись на спинку скамейки; вот спархивает слово с его уст, по невысказанной высокой дуге перелетает к пухлой мочке маминого уха. Вот от бритвенной щелочки маминых, крупным планом, как в учебнике по фонетике, красных губ отделяется литой выдох, на мгновение возвращается, как каштан на резинке, и вновь подпрыгивает, взмывает, мы его уже не видим, и падает спустя два дня в его уверенную руку, на той же скамейке. Между их улыбками — я, ипохондрик; мы втроем на поляне, за городом, мама снимает первую в Трускавце капроновую кофточку с черными точками пуговиц, солнце таращит глаза, он расстегивает белую рубашу и плавно бросает ее на зеленую траву, они глядят на меня и хохочут, с меня насильно стягивают майку, это называется "солнечные ванны" — где же красный и синий краны, сосок душа, гладкая облицовка? — мама сидит на подстилке, поджав под себя ноги, а он ходит вокруг на руках, его пунцовое лицо напряженно улыбается, штанины брюк сжались гармошкой в коленях, обнажились щиколотки, четко отрезанные краями носков. Изумительно! Просто прелесть! И тут с другого конца поляны вырывается крик и гаснет, потом женщина с растрепанными волосами, одетая, но все равно раздетая, бежит

от цветка к цветку, припадает к ним, вскрикивает и отбегает, вновь припадает, задирает спереди юбку, что-то прижимает — а, пчел! — к багровым бедрам, вскрикивает, мама поспешно накидывает кофточку, мы торопливо уходим, а мужчина каменным памятником, на руках, вниз головой, остается в этом густом багровом чаду, исполосованном вскриками, рядом с ним на проволочных ножках раскачиваются взлетные головки ромашек, вблизи мельтешат абразивные брюшки пчел, и безумица с растрепанными волосами то и дело застит солнце длиннополой юбкой. Ну вот, твоя ладонь уже в кармане моего плаща. Как темно, как гулко. Эта осень про тебя. Ты снимаешь червонное кольцо, жгут листья, оно катится по ночному столику, дымок оселедцем тянется к ограде, к дощечке на калитке "выгул собак строго воспрещен", давай прикинемся не муругими, пойдём аллеей, простои́м весь "жовтень", весь "лыстопад" — так назвали эти месяцы украинцы — чтоб поймать то мгновенье, когда листья меняются в цвете — мальчиком ночь напролет караулил у клетки с канарейками, когда же вылупится из яйца птенец — так и не поймаем, потому что не кроны меняются, а что-то происходит в нас: леденеют хрусталики, твердеет роговица, вон, у обрыва, могила ученого — он хотел продлить наши жизни, слава Богу, ничего не вышло, школьницы набивают портфели каштанами — пожалуйста, мне не жалко, пожалуйста, дома раздавайте их младшим братьям и сестрам, когда они кинутся к дверям на ваш звонок, пойдём к обрыву, кольцо твое ка..., мне подмышки спрячь свои озябшие ладони, чем студенее воздух, тем воспаленнее цвет. У тебя черновицкое лицо. Все люди родились в Черновцах. Это пиршество гласных, эти барочные интонации, эти имена — гроздя: Мара, Изя, Фира, Шела, Рува. Я компостирую талоны под голос водителя: "Трамвай идет только до Черновцов". Эти холеные имена и лица. Кто-то царапал подушечку пальца острием, ронял иглу на черный блестящий диск, и изпод иглы какой-то страстотерпец пел: "За все, за все спаси-

бо, за то, что ты красива...". И если холеная щека девятиклассницы не одергивалась от твоих не знающих наверное, что делать, губ, то ты считал это счастьем. И если холеной улыбкой тебя приглашали на дамский, ты понимал: большей победы ты не одержишь никогда. Эти девочки исчезли самыми первыми – кто ждал их в Хайфе, Натании, Иерусалиме? Я приставляю револьверное дуло к затылку водителя: "Никаких Черновцов. Вы останетесь в Киеве. Я хочу выйти сейчас, в Крепостном переулке". За моей спиной шушукуются две девочки: "Я видела маму в окне, она ждет меня на остановке, Мариша, уже поздно, я прошу тебя, выйдем, меня ждет мама". У тебя черновицкое лицо. Я никогда не смогу любить другие лица. Твоя мама сказала, что у вас в Черновцах есть родственники. Что они зубные врачи. Как их фамилия, ну, говори! Мне страшно. Открой форточку. У тебя есть рафинад? Я задыхаюсь. Накинув куртку на голую спину, я стою на цементном пяточке, в подстаканнике балкона. Где-то высоко и беззвучно урчат реактивными двигателями души новогодних елок. Прямо с неба кто-то спускается на парашюте, приставив палец к губам. Взлохмаченная голова соседа высовывается из окна четвертого этажа: "Перестаньте стучать! Только и знаете, что тюкать ночами!" Это не мы. Это наши сердца. Это мы. Мама сама придумывала слова. Меня не понимали другие дети. Если я болел, она говорила: "Ах ты мой больнухастый". Это было понятно, потому что болел я телом, а с помощью суффикса "аст" образуют слова, относящиеся к плоти: головастый, брюхастый. Когда я выходил из-под душа, она встречала меня: "Ах ты мой расчистотистый". Мама думала, что второй ее ребенок будет девочка. Когда я возвращался из школы, она спрашивала: "Что ты получила, моя отличница?" Что я получил? Отец приходил в ярость, когда я говорил, что если у меня и есть какие-нибудь литературные задатки, то они от мамы. Может быть, эта отцовская ярость нам с братом и досталась в наследство? Брат до сих пор передразнивает: "Ах ты моя отлич-

ница". Я получал пять поцелуев на завтрак и сто перед сном. Мама склонялась над моей подушкой. Мы все любили друг друга по-звериному. Если кого-то долго не было и он внезапно появлялся на ступеньках веранды, мы кричали, мы просто нечленораздельно выли, приветствуя, ликуя, празднуя, мы ощупывали руками, губами и только после начинались расспросы. Я вырос на поцелуях. Не прощай мне, если мало целую. Я включаю грибок и в ужасе сажусь на подушку: по одеялу, по стене врассыпную бегут пухлые, опившиеся клопы. Дотронься до них иголкой — как до девчоночьих надувных шариков на первомайской и ноябрьской демонстрациях — лопнут, хлоп — и нету. В комнате холодно — батарея не греет. По ночам я просыпаюсь от счастья: я один! Нельзя терять ни минуты — все время понимать и радоваться тому, что один. Я наспех одеваюсь и сажусь к столу, потому что боюсь лечь в клоповник. Я ужасаюсь: неужели, когда вырасту, буду сипеть, храпеть, отхаркиваться и отсмаркиваться как взрослые мужчины. Ты бы отдал, только честно, пять университетских лет за хорошую метафору? Еще бы. Мы идем самым порочным в городе сорокаметровым пролетом, по звонкому тротуару, над головой каменный свод, сбоку, где улица — колонны. Здесь начинается и кончается ветер. Вот он выносит под музыку, выплескивающую из горячечных окон двух ресторанов, тринадцатилетних мечтательниц, сильфид, их холодные и розовые, как ватки в пудренице, личики воспалены, глазки возбужденно вращаются по нескольким орбитам сразу, их несет навстречу друг другу, как в игре "вожатый, вожатый, подай пионера". За ресторанами, во дворе, каждый вечер люди засыпают под оркестр. В этих дворах живут дети. Каждый вечер насупленные мальчишки не сводят глаз с окон напротив. Это окна центральной гостиницы, где отводят душу командировочные. Этот двор поставляет городу извращенцев с насупленными бровями. На мне сандалии для девочек. За металлической высокой сеткой, отделяющей жасмин, мой дом и меня от

соседнего двора, Аза играет в пинг-понг. Двор-колодец покрыт плитами, отгорожен глухими сырыми стенами, только сквозь сетку туда просачивается наш свет и запах нашего жасмина. Чтобы попасть туда, нужно выйти на улицу, зайти в соседний подъезд и шагать, никуда не сворачивая, по кошачьему коридору, впадающему во двор. Мне разрешают ходить туда. Но я стесняюсь сандалий. По ночам я просыпаюсь от счастья: сетка лопнула, жасмин хлынул во двор-колодец и затопил его, мы плаваем и играем в водное поло теннисными шариками. Ноги в воде, так что сандалий никто не видит. Зато в них удобно бегать. Забыв за что, с полудня до вечера я гоню Бэрале — по асфальту, по мостовым, по проулкам, по крышам. В темноте крыши и кора деревьев живут воспоминанием света. Они остывают, но еще теплы. Я узнаю их наощупь; за остающейся на пальцах ржавой крупчаткой, за фибрами коры еще бродит густое месиво зноя; щекой прижимаясь к коре, не хочу отрывать ладони от крыши, но Бэрале бежит, изредка показывая свой острый профиль; на ходу глотаю воду из дворничьих шлангов, вода почти не попадает в рот, она вырывается, ей хочется упасть на горячие бульжники, мы гоним Бэрале, и когда, обежав весь город, он припадает в изнеможении к высокой стене без окон, я не знаю, что с ним делать, за что и как мстить. Я привожу Азу к этой стене — Бэрале уже давным-давно там нет, — я вдавливаю Азу — там и теперь отпечаток ее шаткого, полудетского-полууженского тела — в стену и кусаю ее губы так, что она после говорит всем, что объелась черникой, и когда я на миг отрываюсь от ее ключиц, то вижу над головой крохотное, размером с кость домино, окошко, свет в нем и понимаю, что это чей-то туалет и что если сейчас мы услышим оттуда звук, то я уже не смогу вдавливать своего трепыхающегося археоптерикса в штукатурку — привстав на цыпочки, я наугад, не отрываясь от ее груди, тычу рукой и захопываю окошко. Я забыл на мгновение о твоей ладони, и она остыла. Мы идем в библиотеку. Надо записаться. Три друга

говорят свои фамилии и имена, я слушаю. Национальность? Еврей. Еврей. Еврей. Теперь моя очередь. Женщина в темно-синем халате выводит мое имя, год и место рождения. Национальность? Еврей. "Нет, — мягко говорит она, — ты, наверное, русский, ты просто не знаешь". Со слезами в голосе я кричу на весь читальный зал — все отрываются от книг, я сам еще буду сюда ходить каждый день и с ужасом вчитываться в мохнатые густые азербайджанские сказки, где каждая строчка про Азу — еврей! Никакой я не русский. Раз они евреи, значит и я еврей! Я крепко сжимаю твои пальцы, они теплеют, ты начинаешь дышать, открываешь глаза, ищешь меня губами, находишь, за окнами тает снег. Я возвращаюсь на белоснежную простыню, выключаю грибок. Велогонкой катится по городу осень, то отставая — и тогда ей на пятки наступает карета скорой помощи с красными крестами по бокам, то в желтой майке устремляясь вперед; запущенные дискоболом, вертятся напоследок карусели с детьми, обхватившими одной рукой гриву коренастых пони, другой сжимающими надкусанный медовый пряник; вращаются парки — с каруселями, медовыми пряниками, чертовыми колесами, летающими белками, детьми, крошащими белкам батон, влюбленными, шуршащими в сросшихся корнями и шипами кустах, круглыми эстрадами с элегантными оркестрантами в кремовых однобортных пиджаках с широкими отстроченными лацканами и расклешенных бежевых брюках, с певичкой, откинувшей одну руку далеко назад, так что лопнуло декольте, а другой мертвой хваткой вцепившейся в микрофон, с зеленым театром, готовым обрушить свой восторг на округлые обнаженные плечи певички, с детьми, окружившими перепончатый забор зеленого театра в поисках щелки, дырочки, прорези; распадаются счеты, и с попережных прутков срываются — десяток за десятком — косточки, участницы велогонки мира, за ними, взывая руками к небу, бегут бухгалтеры, кассиры, счетоводы в сатиновых нарукавниках, в очках, в домашних тапочках, обуваемых по

приходу на службу; став на попу, катятся клумбы, фонтаны, стадионы, ипподромы, обдавая фиалками, брызгами, свистками, топотом, гаснущим в хрусте гравия, высыпавших на тротуары людей, собак, аквариумных рыб, и за всем этим на площадь на колесницах въезжают римляне, дымятся на солнце латы, плаваются наконечники копий, визжат старшеклассницы, храпят лошади, бегут, прикрывая лица намотанным на кисти атласом, красавицы-рабыни, свистят пращи, из горл поверженных гладиаторов бьют ключи крови, велогонкой катится по городу осень, в желтой майке, оторвавшись от ветки, от любимых губ, от времени, разрывая дыханьем паутинки, без нас, без нас... Любимая, давай пойдем на базар, уже вечер, здесь уже прошлись метлы, здесь теперь только голуби и кошки, здесь медовый покой, не поскользнься на арбузной косточке, твои абрикосовые губы, твои скулы, пахнущие дыней, вон, между деревянными крытыми рядами скользит девочка — за ушами две ягоды черешни, видишь, видишь? Я покидаю балкон, сбрасываю с голой спины куртку и возвращаюсь к тебе. Крепко сжимаю твои пальцы, они теплеют, ты начинаешь дышать, открываешь глаза, ищешь меня губами, находишь, твои губы узнают мое плечо и радуются, за окнами тает снег, по городу велогонкой катится осень. Четыре цвета, четыре запаха года, сейчас — каштановый, сейчас — дымный. Тогда — снежный, тогда — наркотный. Все попрятались по комнатам, чуланам, подушкам. Ты стоишь во тьме, по ту, черную сторону окна, видишь всех, тебя — никто, видишь, как потягивается иглами разомлевшая елка, капельки смолы проступают на стволе, все сидят за столом: мама, папа и двое мальчиков, пьют дымящийся чай, наливают в розетки вишневое варенье, тот, что помладше, ест ватрушку, сперва обгрызает ободок из запеченного розового теста, а сердцевину — сладкий творог с изюмом — оставляет, как самое вкусное, напоследок. Вот старший мальчик наклоняется к младшему — мама и папа о чем-то — ты видишь это по движению их теплых, влажных губ —

разговаривают — показывает рукой на окно, и ты, испугавшись, отшатываешься — напрасно; пока младший глядит на покрытое жирным слоем узоров стекло, где ты отдышал лунку, величиной с ноготь, старший выхватывает сердцевину ватрушки и заталкивает ее в рот. Лицо младшего сминается, опускаются уголки рта, он, наверное, громко, а для тебя беззвучно, плачет, мама и папа ругают старшего, мама протягивает обиженному другую ватрушку, рукой отламывает от нее тесто, младший перестает плакать. Им стелят в комнате, где елка, они лежат и в темноте слушают елку; каждые пять минут младший лезет под подушку и трогает рукоятку новенького кортика. А по чуланам прячутся мыши в велюровых капюшонах. Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик — там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. Ссутулившись, они метушатся, тычутся в стеклянные трехлитровые банки с наливкой, последние крошки съедены, позвякивают расшнурованными хвостиками о лейки, еще пахнущие укропом, о мерцающий во мраке медный таз для варенья. А в подувалах гудят домовые, черти, вурдалаки, упыри; они знают только две буквы: "у" да "ю", "уууу" да "юююю"... Брат завязывает на мне длинный галстук, мой первый Новый год не дома. Людочку Криницкую приводит старшая сестра Лара. Мы все помним Лару, она кончала нашу школу, теперь она совсем взрослая, на втором курсе мединститута. Она хорошенькая, на ней вещи из посылок. Лара, не скидывая шубки, строго оглядывает нас: ведите себя хорошо. Я онемевшими губами говорю: "Приходите к нам после двенадцати". Она замечает меня, ничего не отвечает, уходит. Сразу становится пусто. Не пей, Гена, погоди, вдруг она вернется. Потанцуй, вот выключили люстру, смотри, все девочки хотят прикоснуться к тебе. Утром, проснувшись, я узнаю, что приходила Лара. Понимаю: ко мне, ради меня. Галстук натер мне шею. Приподняв подбородок, я неосторожно снимаю его, и он развязывается. Ничего, у меня есть старший брат. Забрала Людочку и, не снимая шубки,

ушла. Он снова завяжет: раз-два и готово. С Новым годом, будьте счастливы! С Новым, сладким, 5729-ым! Любимая, ты старше меня почти на четыре тысячи лет. Не плачь, разве ты забыла, что сказал великомудрый Эзра? Начинается новый год для деревьев, птиц, нас с тобой. Трубите в рог! Несите финики и красную свеклу, виноград и порей, фиги и яблоки в меду, ставьте на стол баранью голову. Пусть умрут от зависти евреи Бельц и Станислава, Прованса и Гренады. Рош га-Шана! Рош га-Шана! А лэшона тойво! Как громко барабанят новенькие каштаны о крышу веранды. Холю и целую. Лелею и целую. Голублю и целую. Все желоба забило каштанами — не слышишь? Это телефонную трубку забило каштанами, но мои поцелуи — слышишь? — по капле, как в градишне, просачиваются по проводу. Вот они легко и свободно хлынули из всех водосточных труб. Дети подставляют босые пятки. Дети ждут вечера. Розины окна выходят во двор. Если забраться на турник, где выбивают ковры и дорожки, то в Розином окне можно что-то увидеть. По вечерам, когда наши отцы прилипают к коротким волнам "Рекордов", "Уралов", "Балтик" — и это предел их гражданского мужества, — к Розе приходят подружки и офицеры. Если забраться на турник, то в десять, когда на иудейском небе проступают желтые звезды, можно увидеть, как Роза на круглом столе, в комнате с затемненным светом, на пару с собственной тенью исполняет под едва доносящуюся протяжную приторную музыку, в окружении сгущенных напряженных силуэтов гостей, танец живота. Время от времени чья-нибудь мать или отец выкрикивает имя своего загулявшего ребенка — Фима, домой! — но мы не слышим: по вечерам мы работаем заклинателями Розиною живота. Только Эдик не приходит к турнику. Его мама — подруга Розы. При нем мы почему-то стараемся молчать о нашей вечерней жизни. В октябре Роза занавешивает окна тяжелыми драпри, и всю зиму и весну мы ждем начала сезона, месяца мая. Одним зеленым маем, когда из всех окон один и тот же голос тянул "Ти-ши-

на”, когда весь город рукоплескал ”Золотой трубе Львова” – Эдди Рознеру, когда черновицкие юноши вышли на улицу Кобылянскую на толстых каучуковых подошвах, с пышными коками, мама сшила брату веселой расцветки рубашку на выпуск, и в тот вечер, когда он надел ее впервые, он был замечен Розой и приглашен в гости. Я вишу на турнике – Гена, домой! – и воспаленными, вытарашенными глазами пытаюсь различить его тень. Пока брат не возвращается, я не могу уснуть. Он быстро раздевается, ложится, не сказав ни слова, даже не включив лампы. Он как-то иначе, непривычно дышит. Ночами собаки собираются в стаи и бродят по городу. Когда падает первый дождь или снег, кажется, что ты уехал куда-то в незнакомое место. Первый снег – это по сумрачным утрам скрежет фанерных и железных лезвий лопат о тротуар, это воскресенье, это каникулы, когда вас грузят всем классом на поезд, и наутро вы уже в Ужгороде или Минске, это отпуск, когда посередине зимы ты срываешься куда-нибудь в Мисхор или Ялту и обманываешь свое полушарие: встречаешь одну весну в Крыму, в феврале, а другую, в апреле, у себя. Они собираются в стаи и чувствуют себя волками. Впереди бежит Билл. Мальчики из украинской школы, в буфете которой всегда один и тот же, уже надоевший всем сорт колбасы, называют его Билый. Но ему-то лучше знать, как его зовут. Билл – крупный и красивый пес, в нем есть примесь какой-то благородной крови, он привык, чтоб его любили, и его есть за что любить. На полкорпуса от Билла отстает дворняга Рыжий со скуластым русским лицом, после – Пакет, пасынок пригородной молочной, потом еще с десятков псов, из тех, кому и кличек иметь не положено, последний – приبلудный, ополоумевший от горя, одуревший от страха, маленький, как пульс, пинчер, за которого в объявляемых, расклеенных на всех фонарных столбах околиц и центра, обещано крупное вознаграждение. Отстав метров на десять, за ними по крышам крадется блестящая белая кошка в зеленом берете – ей хочется чего-то нового,

еще неизведанного. Ночами. В однокомнатной коммунальной квартире на раскладушке лежит студент. На диване бесшумно спит его мать. Студент приложил к уху транзистор и медленно крутит колесико настройки. Он ждет. Час тому назад он проводил свою подругу, тоже студентку, в общежитие. Она сказала, что она беременна. Они долго шли молча. Потом он толково, хотя и медленно, объяснил, что есть две возможности: либо оставить ребенка и тогда им нужно будет расписаться — и как можно скорей: у мамы, кажется, есть знакомые в райзагсе, либо сорвать беременность — сначала попробовать горячие ванны, аскорбиновую кислоту, массаж, если не удастся, то аборт. Третий путь — оставить ребенка и ей самой куда-нибудь уехать — это детский лепет, в котором есть некий моральный комфорт для нее, заводящий в свою очередь его в безвыходный моральный тупик. Из общежития, где еще никто не спал и всюду горел свет, то и дело выбегали студенты, парни в синих спортивных костюмах, брюки в обтяжку, и девушки, тоже в спортивных костюмах. Все были возбуждены — просто так, без видимых причин. Лица у них покраснелись. Они словно что-то делали, куда-то устремлялись, чем-то были по горло заняты. Но лихорадило их как-то по-школьному. Так пятиклассники до изнеможения мутузят друг друга и всякий раз находят свежие силы и новое остервенение — и так до звонка, чтоб потом с горящими глазами и алыми щечками свалиться на парту и грязными, взмокшими руками тайком от учителя отколупывать от бутерброда кусочки корки и сыра. Эти студенты жили, не замечая, что живут. Иногда они готовились к экзаменам, иногда обклеивали комнаты вырезками из польских журналов, иногда разъезжались по домам, в свои Новоселицы, Путилы, Чертковы, Раховы, Тернополи. У них были две прочные традиции: дурно говорить о евреях, чуть мягче, чем это делали их отцы, но все равно дурно, и хотя здесь, в городе, они увидели и познакомились с живыми евреями и даже могли дружить с ними, уважать,

любить, но тот, скорее чуемый, чем осознанный, осязаемый их плотью и кровью Еврей никакого отношения к живым, знакомым им евреям не имел; это был какой-то языческий идол, нечистая сила, которую нужно было проклинать и ненавидеть — чур меня, чур! Второй традицией была страсть к волейболу. Они умудрялись натягивать сетку в самых невероятных местах, чуть ли не в коридорах, делились на команды и играли навывлет дни и ночи. Они подавали крученые подачи на палец над сеточкой, самозабвенно падали, скользя на груди, с загнутыми к ягодицам, растопыренными ногами, тушевали под прямым углом с такой силой, что в противоположной точке земного шара сыпались камни и дрожали баобабы, высоко выпрыгивали и сооружали из четырех рук непробиваемую стеночку. И еще одна была у них традиция, точнее воспоминание традиции, тянущейся еще с бронзового, да нет, какой там, с каменного — если бы! — с мезозойской эры, с девонского периода: мечтать об Америке, Канаде, Австралии. Но делали они это очень редко, потому что жили не в такой уж бедности, и все же иногда, вслух и про себя, делали. Прощаясь, уже поцеловавшись, она сказала: "Я еще не потеряла надежды, что врач ошиблась. Мне кажется, во мне там что-то сейчас происходит". "Если у тебя начнется, — отвечал студент, — пожалуйста, через час, в двенадцать, позвони мне и, не дожидаясь пока я подойду к телефону, повесь трубку — ты ведь знаешь какие у нас соседи". Он медленно крутит колесико настройки. О чем-то — наверное, о любви — хрипло поет Эдит Пиаф. Голосом, полным терпимости и мудрости, комментатор Би-Би-Си Анатолий Максимович Гольдберг обращается к своим слушателям, он словно жалеет этот обезумевший, катящийся к краю бездны мир. Студент ничего не понимает. Он ждет звонка. "Когда же, — в коридоре брызжет телефон и тотчас смолкает, — человечество повзрослеет?" — вопрошает Анатолий Максимович. Студент по дыханию матери понимает, что она проснулась. Проснулись все соседи. О, как они были бы счастливы,

если бы это звонили студенту. Тогда не меньше недели они смогли бы корить его мать на кухне "этими вечными ночными звонками, после которых без пачки ноксирона не унешь". Напрасно они навострили уши. Больше звонков не будет. Ночами собаки. Из дома выходит подросток. У него умирает бабушка. Подмышкой у подростка две сдутых и свернутых кислородных подушки. Он идет в дежурную аптеку. Она в двух кварталах от их дома. Рядом с аптекой живет Ида Бродецкая. Она старше его на год. Она в 9-м "А". Бабушка у подростка настоящая дрянь. И лучше, чем он и сестра, этого никто теперь не знает: дед уже умер. Он и сестра привыкли к щипкам бабушки — хоть в пасечники иди. Когда сестре было года четыре, бабушка впервые назвала ее проституткой. Родители до сих пор не верят этому. Родители ничего не понимают. Они считали деда исчадием ада. Бабушка все обставляла хитро. Когда сестра пошла в школу и к ней стали приходиться подружки, бабушка нарочно в другой комнате распалая — а это было просто — деда, и он начинал громко материться. Сестра не знала, куда глаза деть. Родители объявляли деду бойкот. Вечером он сидел один у телевизора, прямо, но грустно, и подростку, тогда еще мальчику, было его жаль. Дед всегда носил в кармане пиджака круглую коробочку монпансье. Он любил громко трясти ею — это был условный сигнал для внуков. "Только по одной!.." Теперь бабушка, эта дрянь, умирала. Подросток, с тех пор, как научился читать, детским книгам не верил. Ни в одной из них не была описана бабушка-дрянь. В книгах бабушки были добрыми, полными, в очках, любящими, вяжущими. А у него была злющая, без грудей, глазастая, жалящая, колющая. Надутых кислородных подушек подросток стеснялся. Он знал, что умрет со стыда, если с ними случайно встретит Иду Бродецкую. Но уже поздно, и она давно спит. В прошлом году он едва не умер. Был конец декабря. Они, семиклассники, в последний раз принимали участие в новогоднем утреннике. Восьмиклассники уже устраивали вечер.

Маргарита Львовна, классный руководитель подростка, считалась лучшей учительницей школы. Ей всегда вручали вымпелы и дипломы за лучший класс. Она собрала родительское собрание и сказала, что для всех детей нужно пошить маскарадные костюмы. Это их последний утренник, и они должны показать, что не напрасно считались лучшими, что они умеют не только отлично учиться, но и отлично веселиться. Подросток не верил, что надев маску или костюм, можно веселиться. Они стеснялись, в них было неудобно ходить, прыгать, жить. В другом веке и для совсем других людей это было, быть может, естественно и весело. Подростку нравился музыкальный фильм про мистера Икса, его лишь разочаровал конец этого фильма: когда несчастный и прекрасный мистер Икс снял маску, он оказался некрасивым. Подростку сшили костюм клоуна с дурацким колпаком, покрытым пачкающей руки краской, и разноцветными штанами — их сделали из старых кальсон, и это тоже приводило в ужас. 28 декабря в одиннадцать часов, Маргарита Львовна ввела его в чужой класс и при всех — не в коридоре же это делать, чтоб все потом знали, кто кроется за маской клоуна — заставила переодеться. В этом классе училась Ида Бродецкая. Все каникулы подросток проболел. Теперь пустыми улицами он идет в дежурную аптеку. В аптеке пахнет аптекой. Там еще один посетитель, небритый взрослый, он хнычет: "Девушка, всего две ампулы, что вам, жалко? Вы такая милая, добрая". Девушка берет у подростка подушки и спустя минуты три возвращается с ними, уже пузатыми. Подросток протягивает ей десять копеек. "Я же сказала, нет!" — говорит девушка мужчине. "Ах ты кур-ва, да ты у всех сосеешь — по губам вижу, гони ширево!" Подросток торопливо выходит, подушки с трудом пролезают сквозь дверь. Лишь бы не встретить знакомых. Очень тихо. Вот приближается стая собак, впереди красивый белый пес, он гордо несет свою голову. Возле угла из темного окна на третьем этаже раздается пронзительный телефонный звонок; звонок падает на троту-

ар и разбивается вдребезги. Из-за угла выходят двое, они ступают без боязни прямо по осколкам звонка, и подросток понимает: это Ида Бродецкая с каким-то молодым мужчиной. Подросток больше ничего не видит и не слышит. Он вваливается в чей-то подъезд, выпускает подушки — одна из них выкатывается на улицу, и умирает от разрыва сердца. Ночами собаки собираются в стаи. Надежд не остается. Деньги есть, а ампул нет, и если их не будет, то это конец. Нужно как-то перекантоваться еще пару часов, потому что в аптеке сейчас работает бабуля, божий одуванчик с седой луковичкой на затылке. Ее сменит девчонка, может, ее удастся уломать. Холодно. Я ушел из дому, забыв шарф и шапку; когда я прикасаюсь к своей колючей щеке, становится еще холоднее. Шприц я ношу с собой, в маленьком блестящем стерилизаторе. Я люблю прикасаться к тонкому стеклу ампулы, люблю переворачивать ее, чтоб потом на дне плавала бульбочка воздуха. Стержень плавно и упруго скользит в корпусе. Иголочка тонкая. Как в ней умудряются делать отверстие — не понимаю. Стерилизатор у меня в боковом кармане пальто, и я слышу, как позвякивает шприц о металлические стенки. До конца смены бабули еще два часа. Может, зайти в кабак? Хоть погреюсь. Там очередь. Странно, еще ни разу в магазине или кассах меня никто не останавливал, когда я лез без очереди. Боятся, что ли? Я сую швейцару полтинник, он неодобрительно смотрит на мое расхристанное горло, но впускает. Я причесываюсь. Глаза у меня красные, веки дрожат. Я больше не могу. Я что-то жую, пью. За соседним столиком сидят пять девушек и тренер. Я вижу его мощную спину, обтянутую дорогой шерстяной кофтой, и лысую макушку. Иногда он поворачивается — это когда кто-нибудь подходит сбоку спросить у него разрешения потанцевать с кем-то из девушек. Огромным лбом он отвечает "нет". Они гандболистки, серебряные призеры. У них крепкие руки и торсы. Одна — грузинка, если я не займу себя чем-нибудь, то грохнусь прямо здесь на пол. Я подсаживаюсь

к ним, поздравляю с победой. Они смеются. Я смотрю на часы. Грузинка кладет мне руку на колено. Должно быть, девчонка уже пришла и надевает белый халат. Рука грузинки ползет вверх. Надо расплачиваться, а то упаду. Официант видит, как дрожат мои пальцы. Плевать. Я захожу в аптеку, голова кружится. Выхожу ни с чем. Кажется, девчонка вызвала милицию. Я нахожу в кармане двушку и захожу в телефонную будку – вдруг у первой жены осталась хоть одна ампула. Пальцы дрожат, и я очень медленно набираю номер. Последняя цифра срывается. Не дожидаясь, пока кто-нибудь ответит, бросаю трубку. Все. Я сползаю по стеклянной стенке, закрываю глаза. Мне снятся псы, они бродят стайей по ночному городу. За сутки до того, как пинчер выпал из пышущей жаром каракулевой муфты, семнадцатилетний художник кинотеатра "Мир" пришел к солистке оркестра, выступавшего в фойе кинотеатра перед вечерними, начиная с шестичасового, сеансами. Солистка жила в центре, в трехэтажном доме, в коммунальной квартире. Солистка была старше художника, и ее сын уже ходил во второй класс. Сын сидел в другой комнате и решал задачи. Ответы никак не сходились. В первой комнате художник, даже не успев согреться, стоял у шкафа и холодными торопливыми губами бесшумно целовал солистку, она так же бесшумно и напряженно отвечала на его поцелуи и гладила его спину, плечи, ноги и пах. Он ничего не соображал, кроме того, что все надо делать тихо. Она гладила и гладила его, и он не выдержал. Потом он сел на пол, у стены, и так просидел час, не разговаривая, давясь слезами. Плакал он вот почему. Он любил солистку, а она его. До него солистка была замужем, а после того, как развелась, у нее был известный всему городу роман с сыном ректора мединститута. Художник любил впервые. Он верил, что солистка любит его. Но то, что прежде она любила других мужчин, означало, что и его она может разлюбить, как мужа или сына ректора. До любви к солистке художника ничто не поглощало с такой силой.

Вначале он даже не успевал думать. Он обрел точку отсчета. Он стал иначе определять ценность слов, поступков, событий. Но однажды, оглянувшись, вдруг понял, как все зыбко и ненадежно. Все разлетелось, перевернулось вверх тормашками. Он по-прежнему любил ее и даже еще сильнее, но жить стало невыносимо. Он сидел на полу, прижавшись к стене, и давился слезами. Было уже темно. Он вышел на улицу и встал под ее окнами на противоположной стороне. С часу до пяти он слонялся по городу и сидел на вокзале в зале ожидания. Там к нему подошел его сосед, сержант милиции Вася Сайко. Вася был на несколько лет старше художника. В детстве он днем залезал под одеяло, включал фонарик и так читал книги про шпионов. Вася сделал вид, что они не знакомы. Он чопорно и официально предложил художнику уйти. Художник ответил матом, но ушел: приближался рассвет, и художник хотел, чтобы солистка перед тем, как включить свет, увидела его из окна. Она включила свет, потом вспомнила о художнике и выключила. Подошла к окну. Художник стоял. Тогда она вновь включила свет и пошла жарить глазунью — сын признавал только глазунью. Художник ушел. Весь день он не спал, а вечером напился. Вот он идет пьяный к солистке. Круглые часы "Терек", привинченные к столбу, показывают одиннадцать. Художник останавливается под ее окнами и кричит ее имя. Солистка высовывается из окна. Холодно, но окна еще не заклеены. Она машет ему рукой. Он поднимается на третий этаж минут десять — идти тяжело. Дверь открыта, и он не звонит, а просто заходит. Солистка с сыном в первой комнате. Пока художник сидит на своем месте, на полу, она стелит ему в другой комнате. Он лежит в темноте на белой постели, и слезы разбегаются в разные стороны. Где-то далеко, в другом мире, в коридоре звонит телефон и тотчас захлебывается. Художник чувствует, как что-то подкатывается к горлу. Его тошнит. Он заливает постель, дорожку, паркет. Находит газету и ею промакает остро пахнущую жижу: крепленое белое вино и кабач-

ковую икру. Пошатываясь, подходит к окну, распахивает его и выбрасывает газету. Она на лету расправляется и падает на голые ветки дерева. Внизу, на тротуаре, лежит что-то пухлое и темное, похожее на подушку. Холодно. Художник захлопывает окно, возвращается в постель и сразу засыпает. Билл на минуту задерживается возле дерева, задирает вверх нос, внюхивается. В воздухе между крышами замирает черный белый сгусток ночи в зеленом берете. Нет, запах неприятен и резок. Билл бежит дальше. Сгусток исчезает, словно его сглотнули. Еще не во всех окнах погашен свет. Еще не все перемерли. Еще кое-где говорят, говорят, говорят. По национальности мы ногайцы. Призвание наше — набеги. Живем мы в степи, кочуем. И вдруг раздается звонок. Все поднимаются. Все уже давно ждут этого звонка. Мужчины делают шаг в сторону женщин. Только хозяин остается на месте. "Это не в дверь, — говорит он, — это телефон, ошибка". И довольно. Пшли вон, псы! Кш, стерва! Поначалу. Ртутные. Кораблик. О тебе. Сын. Поначалу воздух, думая о тебе, слонился, воздух шатался по комнате в шароварах, обдавая гарью, думая о тебе, потом лопнул в тумбочке термометр, думая о тебе, по смертельно бледному потолку текла капля ртути, потом, думая о тебе, лопнули все термометры в городе, и твой будущий сын по ртутным ручьям пустил белый остроугольный кораблик. Пльву. Поначалу уехала Мила Искрова. Пока она собирала свои пачки, балетные тапочки, сапожки, кокошники, ленты, веночки, каждый из нас произнес слово "Артек". Зимой мы бегали в Актоный зал клуба железнодорожников. Там несколько дней кряду шла школьная олимпиада. Там выступали самые красивые мальчики и девочки. Потом я пялил на них глаза, когда встречал на улице. Они все умели: петь, плясать, декламировать, показывать фокусы, потому что жили в самом роскошном городе страны. На республиканских смотрах побеждали только черновицкие дети. Милу Искрову и весь танцевальный кружок Дворца Пионеров премировали путевкой в Артек. Там было

море; там всем давали погорнить; там небо было библейской синевы. Спустя десять лет я приехал в Гурзуф и устроился работать воспитателем в пионерском лагере "Жемчужный берег". Однажды вечером на ступеньках гастронома я встретил свою однокурсницу. Она работала в Артеке. Однокурсница была истеричкой. Когда-то она прижала меня к стене в университетском коридоре и просвистела: "Люстрин, за что ты меня так ненавидишь?" В Гурзуфе — "может, стал наконец мужчиной?" — она мне обрадовалась и пригласила на артековский пляж. Я не смог отказать себе. В полдень широкими и извилистыми артековскими лестницами я шел мимо стеклянных корпусов; там было все, кроме детей. Я встретил только один отряд. Поравнявшись со мной, отряд хором выкрикнул какое-то рифмованное приветствие. Я только потом понял, что оно адресовалось мне. На пляже тоже было пусто. Море было чистым и взрослым; я впервые почувствовал, что оно часть мирового океана. Три дня — у меня в лагере как раз была пересменка — я ездил в Артек, но детей там почти не видел. И все-таки в мае, не дождав-шись конца четвертой четверти, Мила со своим танцевальным кружком уехала на море. Девочки с улицы писали ей письма. Вечерами на витрины магазинов и ателье опускали сплошные, похожие на доски для стирки, железные занавесы. Мы любили прислоняться к ним спиной и ощущать их теплую ребристую поверхность. Я выхватил у Бэлы какую-то бумажку: оказалось, письмо. Я бы сразу вернул, но она слишком уж громко взвизгнула. Я побежал — все девочки за мной. Я почти не играл с мальчиками. С девочками было интереснее. Я бегал быстрее их, но они не отставали. Пришлось перемахнуть через забор. Если бы они не преследовали меня, я бы никуда не убежал и отдал письмо сразу. Но они преследовали, и мне пришлось убежать, а когда позади уже не было слышно их голосов, мне ничего не оставалось, как сесть на скамейку, недалеко от беседки, где пожилые мужчины играли в шахматы, и прочесть их тайны. Никаких тайн

в письме не было. Даже то, что Бэла могла считать смертельной тайной: "Аза по-прежнему любит Гену", ни для кого из нас не было секретом. Но на следующий день я отчего-то перешел в компанию мальчиков. Наступала пора, когда не дружится. В повести талантливого писателя Аркадия Гайдара "Судьба барабанщика" у мальчика арестовали отца. Я не знаю, понимал ли Гайдар, в какое страшное время он жил, но про аресты знал и не смог не написать об этом. Веселых лысых толстячков, отцов моих друзей, щедрых соседей и неутомонных мужей начали арестовывать в пору, когда мне уже не дружилось. К нам заходила дворничка Домка и говорила маме: "Світлана Іванівна, вы б побачили цэ багатство...". Один за другим проходили суды – над текстильщиками, обувщиками, мельниками, снова текстильщиками. Их сгубил избыток энергии и размах желаний. Под утро приезжали бригады ОБХСС, брали Домку и ее мужа в понятия, и в полдень матери моих друзей выходили во двор грузными старыми женщинами с черными лицами. Друзья не выходили вовсе. Их старались услатить на время куда-нибудь к родичам: в Бессарабию, Каменец-Подольск, Винницу, Бричаны. Потом они возвращались в опустевшие квартиры – имущество конфисковывали, – и нам больше не дружилось. Я пытался представить себе предрассветные обыски и не мог. Эти лысенькие толстячки всегда были так веселы и щедры, и так прекрасно одеты. Потом прогремело дело валютчиков. Отец вернулся с работы и сказал, что уволили машинистку Миру, потому что ее муж валютчик. Бертран Рассел написал Хрущеву о том, что преследование валютчиков по сути превратилось в преследование евреев. Приговоры были суровыми. Город жил какой-то надсадной жизнью: нескольких подсудимых приговорили к расстрелу. Дружить стало совсем невозможно. Я вернул письмо Бэле, но со следующего дня уже играл не в "классы" и скакалку, а в футбол. Я не знал, как жить: мальчиков бросать мне не хотелось, но к девочкам я не мог не вернуться. К счастью, насту-

пила пора, когда не дружится. Мальчики и девочки стали играть вместе. Когда заведующие магазинами и ателье вешали на двери замки и опускали на витрины сплошные ребристые занавесы, наступало наше время; мальчики и девочки выкальзывали из своих подъездов, веранд, палисадников, и чем гуще становился вечер, тем молчаливее был наш круг, тем теснее мы сбивались в черные наэлектризованные сгустки: мерцали зубы и белки, ломались тонкие, уже переплетенные пальцы, и в термометрах медленно, как лифт, поднимался ртутный столбик. Катится по столику твое кольцо. Давай не будем включать транзистор. Давай послушаем сентябрьские деревья, их скобяную музыку, подышим москательными запахами ночи. Ты помнишь, как все начиналось? Мальчик ронял пухлую каплю чернил на чистую гладенькую парту. Вынимал из тетради промокательную бумагу, по очереди прикладывал четыре ее кончика к капле, и с четырех уголков надвигалась ночь, и если мы прикасались к ней пальцами, то кожа становилась влажной и фиолетовой. В субботу на классном часе всем выделяли время на чистку парты. Мальчик вынимал из пенала красную твердую резинку и тер изо всех сил, ночь кончалась, занималась воспаленная заря, наши пальцы и губы тоже розовели, мальчик шел домой, учебный год только начался, и мальчик не привык так подолгу сидеть в школе, он шел мимо сквозной ограды сквера, карандашом наигрывая на чугунных прутьях ограды гамму из одной ноты, пахло силикатным клеем, свежыкрашенными полами, канифолью, ночами мы отворяли окно, слушали скобяную музыку, не могли оторваться, становилось холодно, от частого звука кастаньет становилось еще холоднее, ты прятала озябшие ладони ко мне подмышки, за окном кто-то шепеляво напевал. В канцелярских магазинах пахло сентябрьскими ночами. Ученики тащили во двор школы металлолом. Во дворе по громкоговорителю диктор рассказывал о погоде. Голос у него был такой стальной, что старшеклассники залезли на столб, стащили голос прямо на

грудю металлолома и заняли первое место в школе. Ты снимаешь червонное кольцо: сентябрь на исходе. Еще две-три ночи и мы займем первое место в мире по сбору листьев, по раскованным изрешеченным паркам, по пропитанным горьким дымом сквознякам. Подступает зима: сугробами, бровями, дыханьем. На морозе поцелуй теплее. Когда целуешь на холоде, чувствуешь все свое тепло: пульсирующее, хрупкое, живое. Я смотрю на следы чьих-то валенок и понимаю: выпал снег. Теперь нет ни гор, ни полонин, есть только снег. Каждое утро пол в учительской становится мокрым. Сегодня суббота. Игорь уезжает в город, и я остаюсь один. Одному в комнате холоднее. Вчера ко мне подошла лаборантка и пригласила в кино. В прошлом году она окончила школу. Лаборантка — самая несельская девушка в селе. Сугроб прижимается сплюсненным носом к моему окну. Она снимает пальто, влажное от снега. Ей нравится у нас: на полу раскиданы книги, бумаги, пустые бутылки, на столе черствый хлеб, открытая консервная банка. Кровать Игоря не застелена. Ей нравится у нас. Она расстегивает верхнюю пуговичку блузки. В хатах на кровати не садятся: кровати стоят торжественные, как пасхи. Лаборантка говорит, что часто бывает в городе, называет имена знакомых. Я знаю только одного, хулигана по кличке Трон. Трон живет недалеко от меня, во дворе спартаковского манежа. Манеж — огромный и холодный. Я жмусь к его покатым стенам. Мимо, рассекая воздух, со свистом проносятся мужчины с мячом в руке, в вязанных шапочках, в шерстяных свитерах. Я слышу стук их сердец. Неужели и я стану когда-нибудь таким? Трона я не боюсь: у меня есть старший брат, он — борец, самбист. Расплюсненный нос сугроба плавится и растекается по стеклу. Когда по утрам мы идем в школу мимо самых женственных и нежных гор в мире, Карпат, идем из неуюта в неуют, чувствуя себя ссыльными поэтами, кто-то из нас, я или Игорь, кивает головой на горы, окружившие село, и говорит: "Красотища-то какая!". Рядом Румыния. Если осенью

подойти вплотную к границе, и если падает дождь, а ветер дует с запада, то все лицо становится мокрым от румынского дождя, и тебе кажется, что ты побывал за границей. Лежа в кроватях, с книгами в руках, мы часто обсуждаем план трехдневного побега в Румынию, тайного перехода распаханной полосы, поездку зайцами в Плоешти, Сучаву, Бухарест — там сейчас вышел на экраны американский фильм "Бонни и Клайд". Живется нам не плохо, и фраза "Красотища-то какая!" не так уж горька. Ужасно быть несчастным. Сладко чувствовать себя несчастным. Лежать в темной комнате, придумывать себе родителей, папу — капитана дальнего плавания; приезжает он редко; вы вместе идете обедать куда-нибудь в ресторан, лучше всего в "Привокзальный", там всегда есть грибы в сметане, там элегантный, хоть и старьй, служивший еще при румынах, а может, и австро-венграх официант Макс. Он разговаривает с легким, приятным акцентом. "Прошо вэс. Благодарю вэс. Один момэнт". Мы сидим с отцом. На нем темный габардиновый мундир, на воротнике кителя блестят маленькие позолоченные якоря; он протягивает мне сигареты "Друг" — их название тоже выведено золотом; я отказываюсь; тогда он, седой капитан, объездивший все страны и моря, любимец сан-францисских притонов и иокогамских гейш, из внутреннего кармана пиджака достает гаванскую сигару, и я не могу ему отказать. Потом он наливает мне шампанское, оно пенится, и я ладонью показываю отцу — довольно. На нас все смотрят. Кто-то присылает на наш стол бутылку токайского. Отец кому-то сдержанно и благородно улыбается, переливается его седина. Сутроб подступает к краю окна; я говорю зиме — довольно. Она расстегивает пуговку блузки, читает названия книг. Она чего-то ждет. Ей нравится у нас. В воскресенье вечером она приходит вновь. Спустя два часа кто-то стучит в дверь: ее двоюродный брат, девятиклассник. Наверное, он влюблен в свою кузину. Он молчит, у него покрасневший нос, на глазах слезы. Я приглашаю его, наливаю кислого ви-

на, он громко и медленно, потому что горло еще непослушное и холодное, пьет. Потом уходит и говорит ей на прощанье: "Я буду ждать тебя во дворе". Она случайно поднимает с пола черновик моего стихотворения, я пытаюсь забрать, она не отдает, мы едва не боремся, она прячет его под блузкой, и моя рука забывает про черновик. Подступает зима: сугробами, грудью, дыханьем. По утрам лаборантка протирает пробирки и реторты для лабораторных работ по химии. Когда я вхожу в кабинет, что-то взрывается, дымится, горит. Отдай черновик — шепчу я. Бери, бери. Отец наливает мне шампанское и гасит огонь. Где-то за тыщи километров подонок Трон запугивает мальчиков, у которых нет старших братьев-самбистов и отцов-капитанов дальнего плавания. Бери, бери. Я мну бумагу, от прикосновения пальцев буквы расползаются. Это были хорошие стихи. Девятиклассник бегает вокруг дома, колотит в дверь, окно, крышу. У ее сосков резиновый привкус надувных шариков. Вот вспыхнули стены и чердак, сбегается все село, моя рука ищет, ищет черновик, пламя подступает к моей незастеленной постели. Белым медведем надвигается зима. Глыбы снега наваливаются на спину. Мы гибнем смертью Портоса. А мама — актриса. Как Сиди Таль. Лахн ист гезунт — на всех афишах рядом с белозубой улыбкой красавицы — смех — это здоровье. У моей мамы плечи Ружены Сикоры и улыбка Сиди Таль. Ее приглашают в школу, где я учусь, на вечер "Моя профессия", и все мои одноклассники поголовно влюбляются в нее. Она всегда на гастролях и присылает мне марки из Берега Слоновой Кости и республики Тува. Вот в котелке, в черном костюме, с тросточкой, она выходит на сцену семенящим шагом Чарли Чаплина — тари-та-та-та-ти-та, тари-та-та-та-ти-та. Летят цветы, аплодисменты. Игорь возвращается в понедельник, под утро. Он не успевает даже позавтракать. Мы накидываем пальто и бежим по первому снегу. У меня урок в 5-м, у него в 9-м. Красотища-то какая! Февраль! Достать чернил и плакать! Я звоню Игорю. Нужно встретиться, я хо-

чу тебе что-то показать. Приходи, скорее, сейчас же! Я не выдерживаю и выхожу ему навстречу. Иду с открытой книгой в руках. Через благовест, через клик колес. Мы сталкиваемся возле сквера. В центре сквера большая праздничная церковь — склад утильсырья. Что случилось? Я протягиваю Игорю, как хлеб с солью, открытую книгу. Достать чернил и писать. Писать о феврале навзрыд. Мы читаем, а по щекам течет восторг. Кто-то только седлает коня, а над узким креповым берегом Дании, усеянным отточенными камнями, рыбьими хвойными позвоночниками и жидкими тубетейками медуз, море уже занесло свою свинчатку. В одних стенах, под одним сводом, сошлись два студента: виттенбергский и марбургский; одутловатый, легкий, милый принц и когеновский выкормыш, выросший на берегу московского неба, лошадь в сто тысяч человеческих талантов. Они дурачатся, пьют веселое бургундское и говорят о женщинах. А гонец уже пришпоривает коня, и жирные брызги грязи из-под копыт летят на ботфорты и камзол; с нехорошей вестью скачет к юному принцу гонец. Но пока он не заколотил рукою в тяжелую дубовую дверь, пока не хрустнул сургуч и не дрогнул над подсвечником лист бумаги, чокайтесь, мальчишки, дурачьтесь и хохочите. Вы сошлись раз и навсегда. Довольно. К иному побережью. Мертвые, как в рисованном фильме с живыми актерами, кроны вели себя пристойно. Но под землей, в этом темном и отсыревшем второразрядном кинотеатре, тянулись друг к другу корни: неповоротливые массивные и гибкие тонкие: хр, обвивая, хр, щипая, хр, залезая один на другой, хр, сплетаясь. Верх подобного разврата не видел. Надсадный северный ветер рвался к Ялте и Феодосии, но, ударившись о Крымские горы, стертые на локтях и коленях, устремлялся ввысь, там синел от холода и отражался в море. Был декабрь. Казалось, кто-то выкачал насосом теплый воздух. Все было отдельно, само по себе. Зазоры и проемы зияли между скалами, корпусами, людьми, ладонями, губами. Ясные, холодные, бирюзовые проемы и зазо-

ры. Вчера вместе понимали пальцами кристаллическую структуру скрипичной музыки, сегодня – порознь. Стоять спиной к морю, знающему толк в звуках "щ", "ш", "с", слушать его со стаканом вина в руке, под полутучами, полуоблаками, скульптурными, воздушными, натруженными, неподвижными, летящими, как горец в бурке. Пройти мимо голых танцевальных веранд, где цивилизацию тому назад кто-то любил кого-то руками, грудью, бедрами, и кто-то кому-то, покачиваясь в такт волнам, отвечал на эту любовь, мимо дощатых столовок, ларьков, касс закрытых, забитых аттракционов, где женщины пускали по ветру через плечо свой смех, а мужчины подставляли под него лица. В пустом переговорном пункте под пересуды служащих: сынок в Одессе служит, пишет через день, у них после дождя и мокрого снега был мороз, лопнули трубы, деревья оледенели – рушились не от прикосновения – от дыхания, как одуванчики, теперь уже чисто, тепло, только обрубки торчат: под пересуды служащих ждать, пока у тебя в квартире не зазвонит телефон, ты кинешься к нему, и телефонистка служебным голосом скажет тебе: вас вызывает – и назовет мир, где я сейчас живу, имя которого почти никому на земле не известно. Я стою спиной к морю и слушаю твой голос. Ты прибегала на вокзал, да, я перепутал Геленджик и Джанкой, да, ты возвращалась, так и не увидев меня напоследок, плакала. У меня прекрасный голос? Ты, как всегда, не объективна. Он просто ломкий, слегка продутый, маменькосыновний, солоноватый. Пей пиво и слушай мой голос. Твои слова кончаются. Над моей головой развеивается бурка горца. Я поворачиваюсь лицом к морю. Когда-то один русский режиссер замечательно снял пустые, остывшие пляжи: вдоль берега парами лежали деревянные топчаны; замечательно, потому что парами. Когда-то другой режиссер, из Парижа, замечательно снял ночь любви: на столике рядом, переплетаясь ремешками, тикали большие мужские и крохотные дамские часы. Я поворачиваюсь лицом к морю. За спиной звяка-

ют, как могильные металлические венки, кроны. В подземном дешевеньком кинозале тянутся — хр — друг — хр — к другу — хр — корни. Маслянистые тела тают под июльским солнцем. Возле парашюта у входа на пляж кого-то понапрасну выглядывает юноша; как опрометчиво назначать здесь свидания. И когда надежд не остается, он становится руками на парашют и так идет пятьдесят, сто, сто пятьдесят метров, чтобы привлечь не всеобщее, а только ее внимание, и она узнает его, подбегает с берега и смотрит снизу в его побагровевшее лицо и выпученные глаза. Как все легко начиналось: под упругие ритмы “Blood, Sweat and Tears”, под гениальный джемсейшн, который по ночам заводило море. Хиппи-бабочки, хиппи-лужайка, хиппи-синева, чемпионка Крыма по мини-юбкам. Ничего не получилось. Он спрыгнул с парашюта и уехал. И на том пространстве, что простерлось между нами, завяли листья и вымерло все живое. Ты бегаешь по промерзшему перрону, развеваются полы твоей белой шубы, лицо смято, на голове зеленый берет, в горле саднит, с первого пути на третий, с третьего на седьмой, а меня нет, я забился в свое купе, дышу спертым котлетным запахом, веки сомкнуты. Пожалуйста, прости. Я не знал, что ты придешь. Я укладывал вещи и ехал на вокзал один. Поезда исчезают; двоятся, троятся рельсы; бесстрастный голос режет слух; проплывают: вагоны-холодильники с красным, чуть подмороженным мясом, с колбасными джунглями, с детскими куриными тельцами со шпагатными шеями и затянутыми тугой синюшной пленкой очами, с диспетчерами по рефрижераторам, хлещущими самогон, тискающими повариху и жующими хурму, привезенную из Узбекистана, чтоб продать ее втридорога; пригородные продувные вагончики, набитые аж до верхних багажных полок молчаливыми дядьками и бабами в ватниках и телогрейках, с бурячными от мороза и кирпича и бурями от чугуна

и железной пыли ладонями; пассажирские со студентками в колготках, с тридцатилетними еще не старыми мужчинами, едущими по льготной цене и нервничающими, потому что в карманах у них чужие студенческие билеты, с надрывающимися младенцами на коленях у байковых мамаш, из-под халатов которых выглядывают розовые длинные штаны и ноги, которые не выше колен, с демобилизованными солдатами, с треском рвущими воротнички парадных рубах и с не меньшим треском откупоривающими пивные бутылки прямо об оконные поручни рядом с утлым вагонным буфетом, с бесстыжей раскрашенной буфетчицей, обсчитывающей на буженине, колбасе, сыре, масле, плавленных сырках "Новый", жареной рыбе хек, консервах, водке, "Портвейне", "Червонном міцном", "Кагоре", сухом молдавском "Пино", сухом болгарском "Ризлинг", пиве "Жигулевском", пиве "Рижском", сигаретах "Верховина" Мукачевской и Львовской табачных фабрик, спичках, ссохшихся пирожных "корзиночка", печенье "Привет", вафлях "Артек", кусочках хлеба всех и вся, с парочкой, сношающейся на едва прикрытом сверху и с боков сцеплении последнего и предпоследнего вагонов, где, кажется, и минуту простоять невозможно, под грюк, уханье и заглушающее все сердцебиенье; стремительные — раз и нету! — международные экспрессы и громко хохочущим далласским промышленником Мэтью Гарднером, увозящим самые теплые и сердечные воспоминания о добродушии и гостеприимстве русских, с тихо плачущей в пустом купе девятнадцатилетней западноберлинской художницей Мартой Штайн, приехавшей в Москву к своему возлюбленному, прожившей с ним неделю в своем номере гостиницы "Россия" почти на виду у наглых, всюду сующих свой нос, глаз и ухо агентов службы безопасности, но так и не сумевшей выйти за него замуж по причине, которую она не смогла понять ни на немецком, ни на английском: отсутствия у любимого

прописки; почтовые с ломаными молниями на темносиних рифленых вагонных стенках, с проклятиями, поцелуями, просьбами, распоряжениями, увещеваниями, доносами, прожекторами, стихами, приветствиями, уведомлениями о рождении, смерти, нахождении детей, утерянных еще в войну, отказами, приветами, объятиями, надеждами, отчаянием внутри. И среди этого скрежета колес, рельс, льда, голоса дикторши-информатора, лязга поршней, коленных валов, тамбуров, тендеров, фрикционных связей, половых органов из одного гнезда, звона монет, поцелуев, стаканов, слез, переломанных надвое молний, хруста вафель, воротничков, хохота, снега, бумаги, сосуллек, бутылочных пробок бегаешь ты со смятым лицом и пересохшими губами, ищешь меня, не находишь, возвращаешься скользкими гулками улицами, горло уже не саднит, а по щекам текут слезы. Я стою лицом к морю, смотрю на безлюдный кирзовый пляж и вижу: среди лоснящихся тел два мальчика, один помладше, другой – постарше, а с ними мама и папа. Нет, не могу. В окно прет танго. Это в клубе пансионата танцы для отдыхающих. К вечеру. Я хочу написать тебе письмо. К вечеру кто-то сквозь золотистую соломинку вдохнул в бухту теплое. По вечерам с противоположных сторон к берегу рвутся двое – море и я. За день до отъезда около полуночи я спустился по Кругло-Университетской, сел на "девятку" и приехал к твоему дому, после прокрался в твой подъезд, боясь то ли дворника, то ли твоих близких, взлетел на третий этаж, запомнил номер – медные цифры: единица, ноль, тройка – твоей квартиры и скатился вниз. Потому что знал, что сегодня нестерпимо захочу написать тебе. "Ах, эти черные глаза". Даже волны по очереди расшаркиваются перед ними. Соседи по палате ушли, и я могу побыть с тобой наедине. Рядом с этим валким месивом, этой пенистой рыхлой гущей невозможно жить плохо. Почему же они ничего не чувствуют? Почему они так дурно живут? Их лица похожи на бильярдные шары. Круглый день они бьют киями по собственным скулам.

Круглые, как бильярдные шары, дни катятся по огромным столам и падают в лузу. Я долго ловил такси, про себя беспрерывно повторяя: сто три, сто три. За моим столом на ужине сидел мужчина с плоским лицом, житель Кирова. Вятки. Герцен. Как я был счастлив, встретив в мандельштамовской прозе несколько предложений о Герцене, написанных взахлеб; я прочел тебе их тотчас по телефону. Мы ведь вместе были счастливы, да? Женщина за соседним столом сказала: "Если и сегодня он на меня не посмотрит, я повеюсь". После понял: обо мне. Здесь все время кто-то уезжает и приезжает. Только я остаюсь. Подозреваю, что пишу ради конца. Вот он. Бога ради, ни при каких обстоятельствах, нигде и никогда не выходи больше на чужие балконы. Я боюсь. Скажи всем женщинам – вы ведь все как-то связаны друг с другом – чтоб тоже не выходили. Под месяцем, вчера затянутым тугой синюшной пленкой, сегодня ясным, лобзиком выпиленным из фанеры, надсадный северный ветер рвется к Ялте и Феодосии. Хр. Хр. Хр. Хр. Механик, свет! Среди лоснящихся тел два мальчика: один помладше, другой постарше. С ними мама и папа. Нет. Еще немного. У меня здесь полно времени, и я отращиваю бороду. Стою у стеклянной двери лоджии, гляжу, как напряженные провода вместе со столбом выполняют гимнастический крест, и пощипываю щетину. Было время, когда я шел университетскими коридорами, и за мной смыкались стены, чтоб сохранить мои следы и звуки моих шагов. Сколько килограммов серой пыли выдул я с тех пор из канавок электробритвы "Нева"? Я представляю свое возвращение в Киев. Елизавета Рафаэловна распахивает дверь и объятия. "Геннадий, какой вы интересный, как вы похожи на поэта, я сейчас вас съем, а бороду выплуну". У нее самой тонкие, как детская кисточка, усики. Верочка просто смеется – ей хорошо: чтоб ее любили, ей нужно просто смеяться. Боря смотрит куда-то в сторону, гладит лысину, поправляет очки и указательным пальцем чешет свою бороду; Алла порхает вокруг меня и

щебечет, потом, сложив крылья, усаживается ко мне на подбородок. Миша вовсе ничего не замечает. А ты? Впрочем, что бы ты ни сказала, ты не объективна. Итак: двое мальчиков и их родители на июльском пляже в евпаторийском раю. Нет. Слишком жарко. Лучше уж вернуться в крутой, затянутый укатанным снегом переулочек, чтоб набрать полную грудь студеного воздуха. Я нарочно прихожу туда без санок. Под полозьями сверкают звуки. Полозья – это рельсы наоборот. У Зингер самые длинные санки, с загнутым кверху передом. Я становлюсь сзади на концы полозьев, чтоб голыми пальцами – мокрые задубевшие рукавицы в кармане – сквозь меховую, ватную бездну доискаться ее плеч, спины и ключиц, и когда со скоростью свиста мы со звоном влетаем в зрачок полярной королевы, мои пальцы проваливаются в лунку между ее шеей и ключицей, и я встаю с земли шатаюсь, даже не отряхиваясь от снега. Или не в переулочек, а в перелесок, на его сверкающие холмы, с которых наискосок стремительно катится лыжник под румынскую скрипочку. Перед паденьем, перед нелепым взмахом палок он почему-то торжествующе выкрикивает: "Коммюнике!" Вот он лежит с зимней – в гипсе – ногой, придумывает стихи, иногда записывает их. Одноклассница Зингер приносит ему вишнёвый сок и белый зефир. Он ловко ходит на костылях по комнате, такой мужественный, сильный, но в трех метрах от кровати ему кажется, что он недостаточно мужественен и ловок, и он прыгает, просто катапультируется, отбросив в разные стороны костыли, на кровать и даже не морщится из-за того, что уже почти сросшаяся кость вновь сухо шелкает, как баранка, с которой ладонь играет в силомер. Во втором классе, когда всем сказали принести в спичечных коробках кал на анализ, лыжник три дня не нес эту злосчастную коробочку, потому что мучился запорами. Запоры у него были такие, что однажды, по истечении безрезультатной недели, мама отвела его к лучшему в городе детскому хирургу Аронсону, известному своей молодой женой и чудовищно

волосатыми руками, и тот, натянув на правую ладонь тонкую резиновую перчатку, указательным пальцем залез лыжнику в задний проход. Вытащив палец, Аронсон сказал: "Удивительно. Просто удивительно! Ваш мальчик, мамаша, может и sapiens, но не homo". Когда учительница спросила: "А ты, Гена, почему не приносишь кал?", Гена, слегка помявшись, ответил: "Я не какал". Класс неистовствовал, хотя не смолкал пол-урока. В семье не было запретных слов. Когда маме было смешно, она говорила: "Мне хохотно". У мамы не было языковых тормозов. Совсем недавно мой тридцатидвухлетний брат попросил: "Дай мне воды — я умираю от жажды мести". Зингер была в классе, и Гене с тех пор пришлось ежеминутно и ежегодно отрабатывать свой позор. Маме-то он быстро простил это "какать", но себе не смог. И все-таки: евпаторийский рай. Мучился, маялся из-за Миши. Как-то он спросил меня: "А разве не хочется тебе создать настоящий полнокровный характер, образ, не свой, а какого-нибудь близкого тебе или вовсе чуждого человека?" Стыдно признаться, но не хочется. Дело не в том, чтобы лучше или иначе решать задачи, которые ставит перед собой некий усредненный писатель, а в том, что должно ставить перед собой другие задачи. Вот какие заготовки были у меня для описания евпаторийского рая: старшему пятнадцать лет, загорелые девочки приглашают его на свою подстилку играть в карты, а младшего — нет; и так во всем: вчера братья еще были неразлучны, а теперь — врозь. Младший страдает. Подползает к решетчатой ограде пляжа, отведенного для специализированного детского санатория: там дети-калеки. Недавно мне попалась фотография, снятая по окончании смены в таком санатории; у некоторых детей увечья сразу бросались в глаза: искривленные ноги и позвоночники, сухие руки. Я не выдержал и стал играть в жутковатую и увлекательную отгадалку: какое у кого увечье. Вот этот толстячок, оказывается, не может ходить из-за непомерно большого веса, и фотографироваться его

привезли на кресле с колесиками; он влюблен в эту большеглазую девочку, а у нее хрупкие кости – стоит задеть обо что-то рукой или ногой, как кость ломается; но ей завидуют: с виду она здоровая. И вот мой герой подползает к границе санаторного пляжа, пока его брат брызгается в воде с девочками, на которых треугольные желтые плавки и узкие лифики, и смотрит на детей-калек. Эта картина хорошо передала бы его внутреннее состояние. Вот тут Миша и похвалил бы меня. Потом по раскаленным тротуарам вся семья возвращается домой; младший хнычет, и в конце концов отец, уже в комнате, шлепает его. Здесь можно было бы раскалить атмосферу еще больше: добавить фрейдистский мотив – мама молода и красива, и младший сын в нее влюблен. А завершить все победой мальчика над самим собой, над своей завистью и ревностью: на каждый удар он отвечает: "А мне не больно!" и провожает оттягиваемого мамой отца взглядом сухих колких глаз. Будем считать, Миша, что я от бессилия пересказал, а не описал или воссоздал. Зато теперь я свободно перемещаю летящую над исписанной страницей иглу моего шагающего циркуля-измерителя. Что это на острие? Двое, я и море, по вечерам рвутся к берегу с противоположных сторон. Я стою, обдаваемый спереди и сзади соленой матерщиной прачек, на кончике ломкого мола; о мол трется море, и ты вот-вот понесешь. Только раз в неделю, в субботу, потому что переговорный пункт работает до шести, а ты в это время только возвращаешься со службы, я слышу твой слабый голос; я не могу громче говорить – кабинка фанерная, кругом люди, приходится по пять раз повторять одно и то же: "Пожалуйста, не привыкай к тому, что меня нет. Пожалуйста, грусти. Да, грусти". Я захожу в библиотеку. Этот сухой коленкоровый воздух, как трудно и прекрасно его вдыхать. Библиотекарша меня любит и пускает рыться в стеллажах. Я глажу пальцами обложки, корешки, я знаю, какие книги выберу, но все равно не ухожу, тяну. Выйдя на улицу, с книгами в руке, от нетерпе-

ния почти бегу домой, словно очень хочу в туалет. Я уже вижу себя лежащим на тахте, мой взгляд, почти материальный, как проволока, натянут между глазами и желтоватой страницей. Я ничего не слышу и знать никого и ничего не желаю. Или иначе. Я лежу и болею; густым зимним вечером должен прийти отец и принести книги из редакционной библиотеки; я там ни разу не был и только представляю широкие длинные полки, забитые толстыми и тонкими, читанными и перечитанными. Вот он отворяет дверь, кладет что-то, наверное, папку, на стол в коридоре, шурша раздевается, громко дышит, кряхтя нагибается, а, сымает туфли, из кухни выходит мама, чмоканье, разговор, наконец он в моей комнате, что-то протягивает мне. Я пытаюсь по еще холодным обложкам угадать, нарочно не глядя на названия, что это за книги. Неужели? Да, да! Снова про них? Ведь я уже и так страстный роялист. Сейчас прирасту к седлу, поставлю голову ветру, и его величество будет похищен прямо с эшафота. В Крыму, в декабре, в глуши, найти томик Бунина в нищей, на одну — лучшую — треть разворованной библиотеке, зайти на почту и услышать твой едва мерцающий голос, выйти на крыльцо, подставить губы бризу, спуститься к берегу, стоять на краешке мола с книгой под мышкой. Я поворачиваюсь спиной к ребристой, как стиральная доска, поверхности моря, осторожно, чтобы не разбудить тебя, приоткрываю дверь балкона — она все равно мягко звякает, — вхожу в темную комнату, кто-то, должно быть, Елизавета Рафаэловна, шаркает в коридоре, я слышу шум бачка в туалете, снова шарканье. Скидываю куртку с голой спины и возвращаюсь к тебе из резко очерченного пропасти мира, где бесчисленные Оли Мещерские под острыми льдистыми звездами завораживающе шуршат юбками по полу и бритвами по венам. Каждую третью ночь мама уходит на дежурство. А в девять приходит Валера, друг брата. Валера приносит вино, да и брат понемногу тащит из чулана наливку. Валера на пять лет, как и брат, старше меня. Ему

двадцать два. Говорит он, а брат только иногда вставляет "да", "нет", "Блюм, Квока — да они же мои кенты...", "Да, Дудка динамистка". Я одеревенело сижу на стуле, мои побелевшие пальцы стискивают тонкий стакан. Вот Валера в общежитии пензенского политеха. С ним в комнате живут Губошлеп и Ромаша. Губошлеп — садист, он любит гасить окурки о тело своей подруги. А у Ромаша другая слабость — он любит пристраиваться последним в переполненный троллейбус и гладить, залезая руками под юбку, попочку прижатой к нему девушки. Однажды Валера едет с Губошлепом в Псков, к старшему брату Губошлепа. Они там нажираются водяры. И когда Губошлеп и его брат засыпают, уронив головы на стол, жена брата зовет Валеру в ванную — кран не откручивается, там раздевается догола, почему-то вздымает руки вверх, прижимается к белокафельной стене спиной и шепчет: "Ну, пили меня, пили!", и Валера на полу в чужой ванной под храп мужчин пилит ее в хвост и в гриву. А на соревнованиях в Виннице — зеленый такой городок — он снимает прямо в авангардовском зале центровую ляльку и пристраивает ее в городском ботаническом саду; их ловит сторож, подносит свисток к губам, а Валера уже стоит, сжимая в кулаке кружевные трусики, и этим же кулаком отключает замешкавшегося сторожа. Он возвращается из Винницы чемпионом Украины среди юниоров и рога носцем: в первый же день узнает, что его Нату Комарову отоварил Пусып. Она объясняет: "Понимаешь, Лерик, я ждала ребенка от тебя, а у Пусыпа длинный, говорят, это помогает". Ноги на плечи. За уши — и за щеку. Я, шатаюсь, вставал из-за стола. "Ноги на плечи" я не мог себе представить — получался какой-то хруст. Они ничего не замечали. Я выходил на веранду и жадно дышал черным влажным воздухом. Звонила мама с дежурства своим "ребятушкам-козлятушкам". Я начинал разговор со слова "Пока!" — мама задавала тысячу нелепых вопросов, в трубке шуршали и тенькали уменьшительно-ласкательные суффиксы, я на все отвечал

”пока!”; укладывался под глухие голоса брата и Валеры, никак не мог уснуть, вставал ночью, одевался, бежал на улицу, где жила моя однокурсница, и только ее пространственная близость, как прохладная рука, коснувшаяся горячего лба, спасала меня. Когда Валера сталкивался с нею у нас дома и прикасался к ней своим ”здравствуй”, кровь стыла в моих жилах, я спешил увести ее в другую комнату, на улицу, на край света. Проводив однокурсницу домой, отцеловав в подъезде свое, я горячечно торопился домой, чтоб одеревенело застыть у стола и побелевшими пальцами до хруста впиваться в тонкое стекло стакана, наполненного чистым виноградным вином, вспышками и сгустками яркого света люстры и терпким запахом поцелуев. С тех пор как я живу один, мне часто снится длинная очередь, за чем — не знаю, куда — неведомо и последняя в ней — мама, совсем постаревшая, просто старуха. Моя рука находит выключатель. Свет обдаёт стены и задергивает на мгновенье мои веки. Клопы кидаются в рассыпную, как от выключенного электромагнита. Они драпают во все лопатки, сопят, пыхтят, покатые, как цистерны, красные, как пожарные машины. Велогонкой катится по городу осень. Давай посторонимся, уступим ей дорогу, вот какой-то сумасшедший гонщик, не сбавляя скорости, опорожнил выхваченную из чьих-то рук флягу, отбросил ее, и она, цокая как пустой орех, прыгает по ступеням бесконечной, убегающей вниз лестницы. Отшумело. Отпыхало. Мы идем вдоль сентября, и, обогнав нас на минуту, перед нами расстилает озонную, новенькую улицу совсем ручная поливальная машина. Давай пойдем за ней. Мы поднимаемся по Кругло-Университетской. Навстречу бежит стая собак: ночь на подходе. Не бойся. Они не тронут. Мой дом. Окна на пятом этаже не светятся. Мы останавливаемся на каждой лестничной площадке и целуемся. Давай уедем в Нью-Йорк, будем жить на последнем этаже в небоскребе с испорченным лифтом и каждый вечер вместе возвращаться домой. В сентябре мое сердце превращается в

каштан, твердый и маслянистый. В сентябре — так — мое сердце — я хотел назвать... — твердый и маслянистый, но еще прежде, с юности, когда впервые прикоснулся к бумаге словами "течет по жилам вечер", я мечтал написать прозу под тремя звездочками; да простятся мне эти грузные густые осы, размазанные по воздуху — их след невидим, их след звучащ — нарастание без итога, без разрешения, эти вены твои, выпадающие в ладони, эти золотистые руки твои, выпадающие в меня. Как мне хочется встать посреди осени и уйти в иную пору своей жизни, минуя белые переднички — эпиграфы к зиме, голоса над ними, летящие лепесток к лепестку рядом с айвовым писком маленьких птиц. Шуршите чуточку тише, миссис осень — вы спугнете голоса. Когда опало, когда слонилось, когда каждое дерево устраивало вокруг себя, зазывая детей, звенящую шутку с огнем — карусель, я срывался, с поцелуем в уголке рта, с отполированной слезами горки под названием "До свидания" и на пути к дому тысячу раз набирал твой номер, чтоб играть в "Пока!" — "Непока!". Эта осень снова про тебя. Как бежалось однажды вдоль узкого близкого вечера, как хлопалось дверью веранды. Я не знаю за что. Я успел лишь к хлесткому звуку удара. Потом она разделась, как миленькая, и легла куда надо и как надо. Это была самая красивая шлюха в городе. Мой брат мечтал о ней с юности. Он не мог этого не сделать. Осень про тебя. Как она шепелявит — логопеды разводят руками. Давай запрыгнем, покружимся, только покрепче ухватись за багряную гриву кобылицы; ты видишь — сорвало, как косынку, как кровлю, название, мы лежим, и над нами, над распахнутым потолком — три звездочки, я мечтал о них с юности — пусть они стоят.

АЛЬБЫ И СЕРЕНАДЫ

Мне нравится эта собака. Сухопарое, натянутое тело, длинная морда, влажные глаза. В лифте она испытывает волнение и потому целует даже едва знакомых. Однажды, проходя по коридору, я услышал, как она говорила нашей новенькой: приходите в гости. Если бы она сказала это мне, я бы тотчас согласился. Но меня она избегает, потому что чувствует, что я что-то знаю про нее. Лишь иногда, на лету, в коридоре, она хрипло лает: "Привет". Глаза мои влажнеют, уши становятся бархатистыми и, поскуливая, я бросаюсь в туалет, чтобы, запершись в кабинке, дать волю слезам.

Когда его черед делить мясо, мне всегда тоскливо. Это космическая тоска. Я знаю: как бы одинаково ни выглядели куски, все равно ему достанется больше мяса. Мне не жалко, мне тоскливо. Я знаю, он намного старше нас, он еще

успел пожить с последними стаями в лесах. Это выгучка леса. У них там было главным — выжить. И если уж он выжил, один из немногих, то это кое-что да значит. Мне тоскливо оттого, что я знаю, что не выжил бы тогда. Я вдруг слышу свое имя с ласкательно-уменьшительным суффиксом: "что ж ты не берешь свой кусок?" Какое счастье, что я не жил с ними в лесу. Я хватаю пайку, бегу, не оглядываясь, к лифту, поднимаюсь в наш отдел, заворачиваю мясо в чистый бланк и выбрасываю в мусорник.

Больше всего я люблю утро. Она прилетает в кабинет, ее клюв розов, крыло влажное от дождя. Узкая полоска между клювом и подбородком покрыта бисерным потом. Я млею. Этот бисер — признание в любви. Ее дыхание еще прерывисто — она в моих объятиях. Я слизываю ее пот, как когда-то в детстве ловил языком дождевки. День только начался, а для меня он уже прошел.

"Тиньк" — на первом этаже лопнуло стекло. Через полчаса — уже громче — лопаются на втором. Все работают. Я тоже молчу. Лопаются стекла третьего этажа, и я начинаю подсчитывать, когда же это случится и с нашими окнами. Часа через четыре. Надо что-то предпринять. Я иду к белке и тихо, чтобы не поднимать паники, спрашиваю: "Вы слышали?" Белка в недоумении. Провожает меня долгим взглядом. В течение трех часов взрывы все нарастают. Представляю, какой кошмар внизу: ветер носится по кабинетам, кружатся бланки, копирки, все цепляются за стены, за столы. А на мостовой? Сплошной стеклянный хруст, тротуар оцеплен, зеваки, не отрываясь, глядят издали. Теперь, должно быть, смотрят на наш этаж. А здесь все спокойно. Трещат машинки. Белка грызет орешки. Что это — мужество или беспечность? Меня тошнит, и я ухожу в туалет. Мокрой лапой приглаживаю шерсть, но она все равно топорщится. Вернувшись, сажусь к столу. Мы не смотрим друг другу в глаза. Я

вдавливаю свой круп в кресло, откидываю голову, глотаю слюну. Сейчас начнется.

От крысы разит мускусом. Она прижала меня к стене и говорит, говорит. Зубы остренькие. От запаха можно сойти с ума. В конце коридора хлопает дверь. Узнаю шелест любимых крыльев. Если она пролетит мимо и крыса дохнет на нее, то гибель неизбежна. Шелест приближается. О возлюбленная, я спасу тебя! Я внезапно впиваюсь в губы крысы смертельным поцелуем и тело мое надувается мускусом. Я парю и уже не вижу, как развеваются по ветру развязавшиеся шнурки.

К полудню туман загустел и подступил вплотную к окнам. Пришлось даже включить свет. Никогда в жизни не видел такого тумана: густой, синюшный, наверное, липкий. В наш кабинет зашел енот и так и остановился как вкопанный у окна. Прибежала собака и тоже замерла. Потом другие. Все, буквально все собрались. Чтоб видеть, я повис на вешалке. Не отрываясь, мы смотрели на туман. Стекло подрагивало. Это было отчетливо слышно в тишине. Синее, почти фиолетовое за стеклом, электрическое в кабинете, мы, замершие. О, как страшно, как невыносимо!

Я ревную ее к его голосу. Когда дверь приоткрыта, мы оба слышим его голос. Она сидит макушкой к двери, и голос сперва прижимается к ее шерсти и беззвучно целует, потом добирается до рта и колен. Но я не должен выдавать себя и потому сижу неподвижно. Лишь когда по коридору проходит енот, я как бы невзначай прошу: "Будь любезен, закрой дверь в кабинет". Дверь хлопывается, и я вижу, как голос подплывает к дверному стеклу, таращит глаза, трепыхает плавниками и судорожно разевает рот. Это ужасно: теперь она будет жалеть его и потому любить. Она нервно встает со стула и поч-

ти выбегает из комнаты. Я в оцепенении смотрю на скрепку.

Сегодня последний день. Можно пойти в парк. Там сейчас жгут костры. На сердце у меня печаль. Должно быть, так же чувствовал себя в прошлом году в это же время скунс. Накануне он ходил с красными глазами, и все избегали даже стоять рядом с ним. В последний день была жеребьевка. Скунс пришел на нее, хотя мог и не приходить. Весь этот год я помнил взгляд его красных глаз — так он посмотрел на меня, когда жребий вытянул я. В тот день мы были братьями, и скунс простился со всеми, кроме меня: ведь мы расставались только на год.

Вчера тоже была жеребьевка. Я не пошел. Так и не знаю, кто же следующий. Разве это важно? Теперь понимаю, что скунс пришел на жеребьевку по слабости. Но кто сказал, что быть слабым плохо или стыдно? Я вот сильный. Но хорошо ли это? Я не испытываю страха. Вот только на сердце печаль. Пойду в парк. Постояю возле костра. Скунс, наверное, не может думать ни о чем другом, кроме как о встрече со мной. Ветер будет уносить дым от костра. Если бы он смог унести и мою печаль.

Сегодня я обратил внимание, что енот подолгу стоит в столовой возле аквариума. Я тоже стал рядом, но енот меня даже не заметил — так был поглощен. Я долго смотрел в аквариум и что-то понял. Тайну восточной любви. Это был гарем. Ритмичные движения рыб. Их наряды подрагивали в такт с телом. Это был танец. Вода была густа, и близость давалась трудно. То ли сквознячки, то ли зурна диктовали ритм. Одна рыба бесстыже терлась губами о стекло. Енот был слушателем и зрителем. У меня разболелась голова, и я, как пьяный, отошел в сторону. Во рту было сладко. С обеденного перерыва енот вернулся вконец измочаленным и долго не мог начать работу.

Нас привезли на экскурсию. Мы идем вдвоем вдоль канала. Я не люблю этот город. Он сделан стекольщиком. Я люблю другой город, тот, что сделан гончаром. Тот, другой, — теплый, как раз для моих лап. А этот холодный, колкий. Его хорошо вспоминать в жару. Вода покрыта ржавчиной, лишаями. Мы идем молча. Внезапно она бросается в канал. Меня передергивает от брезгливости: броситься в эти бурные с прозеленью струпы. Жижа заливаает ее уши, пасть. Я склоняюсь с низкого парапета и протягиваю ей лапу. Она цепляется. Тогда я чуть-чуть вытягиваю ее правой лапой из воды — морда уже позеленела, клюв заострился — а левой сильно и неожиданно бью между глаз.

Привезли ящики и начали выгружать прямо в кабинете. К полудню я вдруг увидел, что полностью заставлен ящиками. Было тихо, и мне стало не по себе. Я нажал плечом на — как мне казалось — самый маленький ящик, но не тут-то было. Потом услышал скулеж. Узнал хорька и отчего-то обрадовался. Плечо зудело, потому что в ворс въелись опилки. Взял ножницы и стал ширять ими в древесину. Потом пустил в дело оба клыка, непрерывно сплевывая опилки. Крикнул: "Хорек, ты меня слышишь, — тот что-то проскулил в ответ. — Хорек, нужно прогрызть ход к дверям". Хорек, судя по шеруденью, тоже принялся за работу. Еще месяц назад в нашем кабинете сидел крот. Как его теперь не хватало! В ящике оказались елочные игрушки. Стоило легонько уколоть их ножницами, как они буквально испускали дух. Серпантин больно обвился вокруг шеи. Я устал, глаза слезились, в животе урчало. Прилег передохнуть, пососывая кусочек рафинада. Прикинул, сколько времени понадобится, чтобы добраться до двери. Трое-четверо суток. Хватит ли сил, упорства, наконец, любви к жизни? Не знаю, не знаю.

Нас погрузили в клетки и повезли на профилактический осмотр в поликлинику. В окошко машины я видел снежинки; глаза мои слезились от холода и духоты; белка дышала на меня прогорклыми орешками. В поликлинике нас проверял рентгенолог. В кабинете пришлось раздеваться в полной темноте. Шкура моя покрылась пупырышками. Пальцы рентгенолога были электрическими. Меня била дрожь. Я тыкался в темноте; рентгенолог больно ущипнул меня, и я замер. Когда одевался, в аппарат поместили белку. Пока рентгенолог вставлял новую пленку, белка царапалась и клала зубами. Я привык к темноте и кое-что уже различал. Белое пятно халата резало глаза. Рентгенолог нажал на кнопку, чтобы прижать белку с двух сторон. Что-то хрустнуло, как орех, и воцарилась мертвая тишина. Мне показалось, что я схожу с ума. Рентгенолог кинулся к аппарату и, не поворачиваясь ко мне, извлек что-то, чертыхаясь и бормоча. Потом его спина вышла в запасную дверь. Когда ехали назад, в клетке было уже просторно. Дышалось легко-легко.

Незадолго до смерти барсук начал изучать мараранский язык. Сперва мы подсмеивались над ним. "Что, барсуче, в Мараранию собрался?" Весь его стол был завален учебниками, словарями и детскими книгами. Барсук беспрестанно шевелил губами, казалось, он молится или заклинает. По-немногу лепет его стал оформляться в кристаллы звуков. Барсук ходил по всем отделам и, не обращая ни на кого внимания, что-то декламировал, обличал, восхвалял. Все мы почти перестали разговаривать и чувствовали себя как-то неловко. Комнаты наполнил мараранский клекот, перекасты, рык. Однажды барсука позвали к телефону, и по его возторженной тираде мы поняли, что ему звонит подруга-мараранка. Как-то в полдень воцарилась тишина, и каждый из нас догадался, что случилось. Теперь мне ясно, отчего барсук напоследок изучал чужой язык: ведь те, кто начинают, далеки от конца. С тех пор стоит мне случайно услы-

шать мараранский клетот, и я сразу же вспоминаю, как отчаянно барсук цеплялся за жизнь.

В нашем здании четыре лифта. Двигутся все они одновременно: вверх-вниз, вниз-вверх. Когда идешь по лестнице, всегда слышишь скрип, чавканье, скрежет. Все эти звуки просто неприличны. Если я случайно оказываюсь на лестничной клетке с куницей или лаской, то всегда краснею. Плетеные стальные тросы напряжены. Лифты трутся о воздух, и стоять рядом с лаской нету никаких сил. Даже когда сидишь в кабинете, до тебя доносится приглушенное шуршание, и это еще хуже, чем скрежет. Все здание буквально изъедено шорохами. Шебуршат бумаги, копирки, деревья за наглухо закрытыми окнами. Мы тоже начинаем говорить шепотом. Ласка склоняется к моему уху и что-то шепчет. Ее губа шуршит о мочку моего уха. Я сглатываю слюну и слышу, как она медленно спускается по горлу. Хорошо, что у меня только одно горло. Ласка все шепчет, и я, не отрываясь, смотрю на пушинку, подрагивающую под моим взглядом.

Только что был ужас и тайна. Всегда аккуратная, подтянутая гага пронеслась по коридору всклокоченная, ополоумевшая, а на белой пушистой груди два красных винных пятна, совсем свежих. Смотреть на нее было стыдно, но не смотреть было невозможно. Непристойность была не в гаге, а в нас, в том, что мы случайно оказались в коридоре. Теперь каждый сидит за своим столом и делает вид, что погружен в работу. Но два этих красных пятна! Я даже успел уловить запах терпкого, дурманящего винограда. Лизнуть бы кончиком языка, да нет, какое там лизнуть — впитаться, присосаться, захлебнуться.

О волколис! Разве забудет хоть кто-нибудь из нас твой прыжок сквозь стекло? Оно рушилось, крошилось, дребезжало, а ты плавно летел, и твои лапы пружинисто подрагива-

ли. О, как ты бежал площадями города! Отталкивался, приземлялся, а в промежутке парил: тело твое медленно плыло в воздухе, и это паренье было неизъяснимо прекрасным. Что я могу сказать о наших чувствах, даже тех из нас, кто прежде тебя не любил? В кабинете потрескивал телевизор. Твой бег снимали с вертолетов. Мы видели то, что тебе еще было неизвестно. Все дороги из города были уже перекрыты. Рев мотоциклов, отлаженные перебежки патрулей, визг карет скорой помощи, безукоризненность оптических прицелов. Все это казалось суетой в сравнении с твоим бегом, с твоим то вогнутым, то выгнутым телом. Ты бежал, ты мчался, ты летел навстречу свободе, любви — мы, прикипшие к экрану, знали, навстречу чему.

ВОЗЛЮБЛЁННЫЙ

Как раз рассматривала книгу с фотографиями о России. Там такие лица, что у меня кровь застыла от ужаса, но тоже просто от изумления. Снимки бытовые. Так себе представляла, как ты там расхаживал и их рассматривал, а может быть, даже не замечал, только здесь замечаешь ужасных немцев, так как другой ужас.

Вернулась с женского такого вечера – там танцевала танцовщица турецкие и арабские танцы – животом. Только для женщин. У нее была такая фигура, как у меня, хотя я, смотря на нее, думала, что я худее, но, придя домой и рассмотрев себя в зеркале, увидела, что точно та же самая, только не умею так крутить животом.

Часто разговариваю с тобой, так и то мне приходится все переводить на русский: так и живу в трех речах. Про любовь тоже не могу много сказать, так как не страдаю, а живу в

глубокой связи с тобой, такой глубокой, что почти без эротики.

Я сегодняшней вечер под влиянием шока от судьбы арабской женщины. Встретила на прогулке бывшего коллегу по университету – араба из Сирии. Он вел себе женщину, видимо, из тех стран, и очень ему хотелось мне ее показать. Я его знала как самого ограниченного студента философии со склонностями к "бабничеству". Его женщины были с северных стран. Он мне теперь представил эту как его жену и рассказал, что он ее получил четыре месяца назад, что, соответствуя мусульманскому обычаю, его брат в его заместительстве на ней в Сирии женился, отец ее выбрал и вот – послал Могамеду в Европу. Я на него смотрела, не веря, но он, начиная нервничать, повторял, что это так положено, вот другая страна, другой обычай. Я напомнила, что эта система очень невыгодна – большой риск, тут он согласился, но сказал, что ему повезло, что все хорошо и скоро, даст Аллах, дети будут. Все это известно, но шок был для меня, что этот человек живет уже более десяти лет в цивилизованном мире и что сразу так упал в старые привычки. Он очень старался делать серьезный приличный вид, и я уже видела во всем этом его усилии начало катастрофы, хотя она еще по-рабски улыбалась, а одета уже в европейском платье. Парадокс был в том, что они были одеты по-западному, а я – в моей одежде женщины из гарема. Долго еще была недовольна собой, что от удивления все смеялась, а не сказала свое мнение про рабодержавца. Даже очень весело с ним рассталась, как будто он мне рассказал шутку.

Депрессий у меня больше нет, знаешь, исчезли, как я про них рассказала бельгийке на прогулке неделю назад. Она от них расстроилась, получила головную боль, и я освободилась. Это вроде нечестно, но ведь она мне уже несколько раз рассказывала про свои проблемы, и я все выслушала.

Мне американец стоил кучу денег, так как ходили в рестораны, и каждый счет был, как измена; я уже чувствую с

каждой суммой, которую трачу не на наши свидания, что тебе изменяю. Поэтому живу довольно аскетично, есть ведь цель. С американцем рассталась легко, поехал сильный, замкнутый на родину. Он все не понимал мои реакции и я его. Должны были как-то все время объяснять, что имеем в виду. Я уже знаю, пока ты будешь ревновать, я буду знать, что меня любишь, хотя и плохо любишь. Буду задавать поводы к ревности. Так ты страданий своих только временно избавишься или как Сван в конце и потом навсегда.

Когда я войду в номер, я сама разденусь, но молча и медленно, начиная с груди. Будешь меня потом жестоко любить?

Чем больше русских знаю, тем больше уважаю твою стойкость и удивляюсь, как ты смог многим не заразиться. Да, смертельно не заражен, как много видных представителей вашего мощного народа. А вот господин Доктор меня разочаровал. А ты говорил, что он не тяжелый человек. Он мне очень напоминал секретаря Ленггорсовета.

Я сначала долгое время мужественно держалась, но к концу тоже на меня напала моя славянская жестокость и нетерпеливость. А мой муж очень по-западному толерантно и вежливо и мягко его расспрашивал. К концу (5 часов продолжалась наша встреча) Доктор ходил по комнате зеленый в абсолютной напряженности, а у нас трещала голова. Мой муж вопреки всей толерантности заболел и пролежал весь следующий день. Я пошла плавать и смыла советскую пыль.

Вылечившись, мой муж превратился из пацифиста на борца и сказал, что эти люди правы, когда предостерегают нас перед самими собой. Я Доктору еще за обедом сказала, что он лично большая опасность для западной демократии. А он не возражал.

На одной стороне, при таких встречах восхищаюсь, что ты до того не дошел, но на другой стороне, у меня появляется такой страх, наверное, есть у него запас ужасов, но сумел большинство подавить, и проходят на свет только верхуш-

ки, но они не лодочки, они верхушки огромных подводных гор. И я с грустью слушаю те же фразы из уст другого, и они больше не проявление индивидуального, а национальной тошноты. У тебя было бы может то же самое про меня. Но вопреки всему, всем моим сомнениям, страхам, борьбам, остается ядро, которое у меня и твои земляки не возьмут, и ты сам никогда не возьмешь, сделавши что угодно.

Мне теперь как-то и хорошо, но нелегко. Мы как-то разрешили нашу связь, мне ведь даже больше не хочется, так как из-за собственной экстремности не выдержу с тобой больше пяти дней. Всегда рада уезжать, чтоб освободиться от рабства, которое сама себе причиняю. Но факт, что все решено, что проблем нет, что все удачно получается, меня печалит. Знаю, что такая печаль извращенный люксус, и мне даже немножко стыдно, что у меня такие дворянские проблемы. Как я рада, что однажды умрем и не будет борьбы.

Как раз позвонили из издательства и рассказали, что Доктор был воодушевлен от нашего разговора, сказал, что у него еще никогда не было такого высоко душевного разговора, с тех пор как он на Западе. Он человек, который не слушает, так просто кажется, но должен же ведь слушать, раз уж так хорошо описывает людей. Так что он, по-видимому, на все реагирует. Сказали, что собирается описать нас в своей книге. Это будет уничтожающе (что касается меня). Я там сидела, развалившись в нашем парижском платье – символ западного люксуса, – и говорила про необходимость чистого воздуха. Он сделает ужасную пародию. Вот в столкновении с русским себя вижу западной.

А ты лучший слушатель в мире. Меня вообще никто не хочет слушать, значит, и хотят, но не так долго и интенсивно, как ты.

Сию в поезде, опять у меня освобождающее независимое чувство. Читаю вашу здешнюю газету: мне совсем этот ваш народ непонятен, три страницы об Александре Втором, на одной странице какие-то восклицания христиан, исповеди,

стремление к православной церкви — они все затухли, сохли, из одного гнета быстро в другой, но чтоб был такой хороший, знакомый, старинный, чтоб не было местечка на бозань, на пространство. И вот такой народ, запуганный, жестокий, властвует над моим европейским. Какой боязливый народ — то к православию, то к коммунизму, то к буржуазной нравственности. Я забыла, что ты — светлое явление, но такое не очень яркое, такое осторожное. Ты у меня вне вашего сумасшедшего народа. Император до тебя дотронулся, — ты ведь не рад, что убили. А пусть царей убивают, это ведь их риск. Мне очень нравятся революции. Но нет у меня страны, потому занимаюсь любовными делами. Все какие-то мечты, я просыпаюсь и ярко помню — целовал правую грудь, больше не засыпаю. А когда стану беременной, ты меня тоже будешь встречать? Есть мужчины, которые очень любят беременных. Я очень одурею, стану вегетативной, усталой, святой, религиозной, как растение, каждый день буду из-за мелочей плакать, думы только про ребенка, хорошее питание, свежий воздух, жизнь в деревне. После родов буду кровь и молоко, блаженность без экстаз, без гор, без мужчин (нарочно поставила горы перед мужчинами — это, конечно, неправда).

Еще десять дней до нашей встречи. А ты быстрее сжигай письма, иначе ты все в страхе, что обнаружат. А что, когда обнаружат? Убьют? Будет страшно? Невыносимо? Вина и ужас? Вчера, когда шла в газету, был долгий путь, и я вспомнила про то, что ты говорил в кафе, что расстанешься, и опять расплакалась от обиды, что считаешь ревность даже доказом любви. Когда мне еще до тебя наркоман — не способен меня любить — рассказывал про свою любовь к своей подруге, я почувствовала сильную любовь к нему, что он ее так хорошо любит. Он меня, конечно, не понял в этом и считал, что я лгу. Мои перверзии тоже в рамке гуманности. Эта связь с тобой в высшей степени нравственна. И культурна, достойна. А был бы негр из Рио-де-Жанейро — это моя мечта

найти себе анонимного негра на карнавале — эту мысль ты мне подобрал, уточнил, она у меня была и до тебя — было бы недостойно — эксплуатация человека, мастурбация. Я должна тебе тоже осторожно писать, чтобы не показывать мои плоские страницы и бесчувственность и грубость, которые у меня тоже есть. А как хорошо, что я не гадкая, столько наслаждений была бы лишена. У нас теперь ночевала одна красивая в лице регулярная девушка, испанка, она стала подружкой мексиканца. Она меня изумила своей красотой, она тоже умная, единственно, что меня спасло, что она не славянка, значит, славянской димензии у нее нет. Единственное, на кого немного ревную тебя — это украинки.

Я теперь пролежала два часа в постели после звонка, у меня появилась такая идея, которая меня не покидала. Я себе представила, что у нас будут два дня времени, первый — половина, ночь и другой — целый. Я все себе представляла до подробностей, не знаю, почему я думала, что не выдержу и попрошу тебя, чтобы меня там целовал, и ты откажешься, ты наверно откажешься, и это меня приблизительно час волновало, я потом буду говорить только о своем, забуду говорить о чужих, наверно расплачусь, и тебе будет страшно, но ты меня не будешь целовать. Я не буду обижена и страдать, только буду делать вид. Так как русский не родной язык, я могу все эти вещи писать, он для меня туманный, на родном бы в жизни не написала. Я пишу точно, как акробат, не смотрю направо, налево, шагаю. Я даже эти строчки пишу, сидя за столом, за спиной разговаривают муж с мексиканцем, мое нахальство — не нахальство, а не знаю что.

Еду в горы. Когда буду кататься, быстро, быстро, чтоб близко смерти, буду думать про тебя. Наверху совсем мало воздуха, тяжело дышать; когда без остановки съеду 1000 метров разницы до деревушки, буду счастлива. Я непременно буду одна кататься, чтобы мне не мешали при моих экстазах. Они не всегда приходят, это подарок, никогда не знаю.

Не знаю, почему у меня такая сильная эротическая тенденция, я ведь жила временами совсем трезво и фригидно. Мексиканец нам делает ритуальные изделия как подарок. Он хороший человек, я совсем не замечаю, что он здесь, все спокойно, молчит, ему не тяжело, мне не тяжело, совсем не-принужденно. Бельгийка мне опять что-то рассказывала про самую красивую ночь в ее жизни, но не детально. Я на нее так эзотерически смотрела, что она спросила, не больна ли я, не хочу ли минеральной воды.

Когда приедет Р., обнимать не буду. А когда он захочет, как могу ему отказать, ведь десять лет сидел! Трудно отказать, из гуманности (не в роде Эмнести) должна отдаться. Какой ужас меня ожидает! Я еще раз посмотрела его письмо. "Обнимаю Вас сердечно". Ну "сердечно" — это ведь формальное слово, и такое объятие допустимо, такое бодрое, дружеское, что ты думаешь как владелец русского? Я такая милая, что тебе все говорю, радую, делаю комплименты, описываю свою страсть к тебе, как тебе меня не любить? Повезло, нашел себе славянскую душу на чужбине, а я с отрочества должна была страдать, настраиваться на чужой менталитет. Ты меня твоим письмом разорил, всю мою гармонию души расколел. Ты мне так красиво написал, что я расплакалась и побежала в подвал, чтобы меня никто не видел. Думаю, это у меня начинается что-то похожее на французские гостиницы. Как все это у меня смешалось — тело с душой и духом. В нашем замке у озера ты себя вел удивительно не-принужденно. Была бы я мужчиной, и должна была начинать я, тяжело было бы мне. Ты тоже знал, что ты должен начинать, это ведь нагрузка, но ты все очень элегантно сделал. Такое я еще не видела, а ведь у меня целовальный опыт! Сегодня воскресенье. Мне снилось, что мы были где-то в гостинице, такой холодной на первом этаже, в больших постелях, я одевалась, а ты лежал, и сразу вошла моя мать, нервная, недовольная, что меня уже долго ищет, и сначала не заметила тебя, но ты, как нарочно, пошевелился, тогда она

сказала таким властным голосом: "выйди, мы должны вместе поговорить". Мне было как будто десять лет, как будто меня бросили назад, все дежурят за мной, жизнь узка, некуда мне деваться, и ты меня не спасал. Но это было в ночи, а теперь мне уже хорошо. Я в первый раз сознала, что, если это так будет продолжаться, я ведь должна буду как-то жить одна, должна буду с основы измениться, мне при этих перспективах закружилась голова.

Знаешь, что я часами делаю? Выписываю из "Правды" адреса членов Верховного Совета: надо посылать письма об отмене смертной казни. У меня карта СССР, так как я должна детективно искать эти места, и со странным чувством печатаю адреса разных бригадиров, шлифовщиц, колхозников — там столько женщин, мне их так жалко, у меня с ними очень глубокая связь, я представляю себе их усталые лица, их полные фигуры, их детей и думаю, как они будут читать письмо. Я непременно постараюсь, чтобы на конвертах были красивые марки. Печатаю по-русски, путешествую по вашей нахально огромной стране.

Когда это начнет больше, я попробую убить каким-то поступком. Вот, например, тобой я окончательно убила наркомана. Сегодня мне попался его снимок, и я старалась найти в нем то, что любила, и больше не могла. Очень странно, как абсолютно ничего, ничего там не было. Вот это начинает меня тоже пугать, эта абсолютность чувств, эти концы. А ты такой замкнутый, абсолютно несдельчив. Даже в лице никогда ничего не могу уловить. А я вся раскрываюсь, как на рынке, ужас, вот это пролетарская черта у меня, нет, нет, нет ничего царского, ничего дворянского. А замкнутость элитарна, ты всегда в лучшей позиции, сохраняешь военные секреты. Мое единственное оружие — неожиданность, изменение фронтовой линии. Тоже теряю чувство реальности. Отсутствие этого чувства мне позволяет все делать. Вот когда я ехала в Страсбург и приходила на наш вокзал, я всякий раз подумала: "Вот и делаю это, действительно делаю, вот

покупаю билет, сажусь в поезд". У меня было вчера такое плохое приключение. Ночью, возвращаясь от княгини до-мой, напал на меня один молодой парень, он шел напротив и схватил меня за грудь и странно захрипел. Я его оттолкну-ла, заорала тоже вроде, как он, он пошел, и я ему от бессил-ия бросила: "Ты свинья". Как славно, что научили меня писать по-русски, ярко чувствую, как культура блаженна. А у тебя по телефону какой-то мужской голос, как бывает у мужчин с майками и собаками. Уже неделя прошла. Все это изнуряюще, раскладывает меня, фантазирует. Какой ум-ный был наркоман, что он меня не хотел. Но ты, конечно, умнее, гораздо умнее, что хочешь. Я уже знаю, что хочу с тобой сделать в Париже: пойти в фантастический и магичес-кий музей. Ты разочаровался? Конечно, все еще хочу вмес-те принять душ. У меня были довольно трудные дни. Мой муж ушел на ночь к какой-то другой женщине, чтобы меня спровоцировать. Он меня спросил, была ли я тогда в Линце с тобой, и я должна была ответить, так как он все знает. Но больше не сказала. Я теперь читаю Чехова по-немецки, про безнадежные внебрачные связи. Муж хотел переселиться и другие какие-то вещи и все хотел знать, как я себе брак представляю, я так истоцилась, все у кого-то какие-то пра-ва на меня. А ты мне прости, что должна была сказать, мне во лжи невыносимо, да и все заметно.

Бельгийка мне опять рассказывала про свою любовь и сказала интересным образом, что она женщина, которая ничего не дает, что мужчина ей должен все отдавать. На мой вопрос, почему она не дающая, сказала, что истоцилась деть-ми и преподаванием музыки. Очень тебя люблю, когда в те-лефоне ты так быстро и тихо говоришь, что почти непонят-но, тогда у тебя нет этого уверенного голоса взрослого муж-чины. Твой голос прямо у меня в подживотии и потом всю-ду. Начинаются опять мучительные наплывы.

Меня ждущая на вокзале толпа знакомых была ошараше-на одеждой рабыни арабского гарема. Только сын в обая-

нии сказал: "Какая красивая!" Я была счастлива на почти родной земле. Как все повторяется! Я совсем не лучше твоей жены, а ты не лучше моего мужа. Временем вырабатывается у нас тоже механизм привычки, фасцинация становится слабее, наступает брак, борьба с прозой, секс теряет философию, не стремится главным образом узнать суть другого человека. Вот это последнее меня сильно поразило. Поэтому я рада, что теперь здесь без тебя. Я любила мою мучающую меня возлюбленность, так как она сильно одушевляла все и давала мне чувство надменности над всеми другими. Не карие прищуренные глаза при ощущении перешагивания границ, не руки при ощущении собственной молодости помню, а тебя как человека, даже не как мужчину.

Мой красивенький, у тебя был такой грустный, грустный голос. Мне было тоже страшно переехать в чужую страну, я всегда забываю, что мужчины тоже люди, что им тоже страшно. Я бы очень хотела с тобой прожить несколько лет в стиле жизни де Бовуар и Сартра, без налаженного быта, без детей, только в гостинице, в парижских кафе. Только ты бы должен был признавать мне все права, как у них было, и не выдвигать ложь в гуманизм. Мы бы могли так хорошо жить и бороться за лучший мир. Почему не можем?

Я как раз вернулась из цирка. Я очень тронута и горжусь, что сын цирк вовсе не полюбил. Он недоумевал, почему люди должны глотать огонь, к чему такие ужасы, очень дрожал, когда акробат полез на пять стульев. Другие орали от радости, а он сочувствовал, чтоб акробат упал. Он понимал, что опасно, но не мог понять красоту опасности. Я себе из люк-суса придумываю ужасные приключения. Была плавать в бассейне и плавала час, думая о таких грустных вещах, что в воде расплакалась, но могла спокойно плакать и плавать — никто не замечал.

Я надеялась сегодня, что над всей Европой будет туман и что ты будешь ждать в Женеве в аэропорту и самолет не будут выпускать, ты догадаешься и позвонишь. Я наверно по-

тому так думала, что, когда мы летели в Америку, нас целый день держали, и я позвонила наркоману, но вместо телефонного акта я была принуждена говорить с его подружкой, расплакалась и наговорила ей, что боюсь лететь в самолете. Так мне было грустно уезжать, не совершив греха. Но зато после Америки быстро и срочно выполнила план. Почему у меня был такой вздор в голове и почему себе выбрала именно такого?

Я даже не знаю, почему мне тот текст в журнале не понравился. Был какой-то слишком русский. Помню, что у меня была какая-то зависть, что у них корни есть, а мне осталась только космополитизм. А русский язык меня раздражал — такой интеллектуальный. А вроде ничего против не могла иметь, так это еще больше мучило.

Мне сегодня ночью снилось лесбийское приключение — очень сильно. Какие-то две женщины, скорее девушки, я их знаю из феминистических собраний, меня начали соблазнять, одна меня укусила в рот, другая была раздетая, потом мы лежали в постели, мне было очень страстно, но их тела были чего-то лишены, а кончилось на том, что муж вошел, и они убежали. Я была этим сном ошеломлена. Было почти, как с тобой, но причем здесь женщины? А днем, когда ждала твоего звонка, мне позвонил наркоман. Сообщил опять, что желает. Я ему сказала, что у меня ныне другие наркотики и что он пропустил возможность, что я не жизненная страховка. Он был в абсолютном изумлении, даже избить меня захотел. Но это неинтересно.

Только что вернулась с демонстрации молодежи. Это была очень интересная динамика. Сначала перед университетом стояло около тысячи подростков, брань, крики, движение, потом прибежал худощавый напряженный молодой мужчина что-то закричал и вслед появились крики "Демо!" (значит, демонстрация), и сразу целая масса скандирует: "Демо! Демо!", и все начинают двигаться в одно направление. Молодежь одета непривлекательно, серо, иногда в кожаных шта-

нах и куртках, иногда подстрижены почти до гола, с платками на лицах, другие свободно показывают лица. Все в руках парней. Они бранят друг друга. Они начинают с лозунгами, расхаживают, как петухи, в них насилие и агрессивность. Девушек около двадцати процентов, они в большинстве подружки парней. Они идут тихо вдвоем или совсем подражают мальчикам, но тех мало. Масса движется. Мне кажется их ужасно много, насилие висит в воздухе. Все больше лозунгов. Приближаемся к тюрьме. Там больше ста человек, арестованных вчера. Лозунги, кулаки, свист, идем дальше. В центре города уже ждут полицейские – их мало, около тридцати, одеты, как средневековые рыцари или как беби, – такие толстенькие. Несколько подростков нервничают, что-то кричат, и масса колеблется, стоит, не знает куда. Несколько мальчиков вооружены палками, и у них шлемы на голове. Но минуту спустя масса опять движется и идет к зданию полиции. Там все темно. Окна опустили жалюзи. Людей в городе нет, в них какой-то ужас. Никто ничего против не говорит, думаю, не смеет. Возвращаемся к университету. Вот и масса распадается, вождь кричит: "В субботу в два часа на площади Клары". Потом садятся на тротуары, на заборы, курят, я ухожу.

Надо ехать в Баварию. Вчера мы сделали экскурсию с одной немецкой парой, и уже давно у меня не было такого отвратительного ощущения праздности жизни. Мы поехали на машине в горы, меня все время тошнило. Немка повластвовала материнскими громкими чувствами, затянула нас в свой профанный мир пикников и географических соображений. Мой муж себе ударил голову, и его тоже стошнило. Мы пришли в течение нескольких часов в абсолютную беспомощность. Должны были есть печенье, она повелевала над сыном, и ее голос беспрерывно сек мне душу. Тошнота мне тоже не помогала, но она была официальное алиби моей урюмости. Моя безнадежная попытка прикоснуться ядра этого человека обрушивалась на ее поток слов – говорила она

высоким голосом про слезы, про смерть, про душу, про секс, но все были слова. Я заметила, что я не общительный человек и что неправильные люди — пытка. Я все пробовала привлечь твоего духа, чтобы мне помог, но он разламывался из-за ее присутствия. Ребенок ночью разбудил меня в шесть, и все будил, как я тебя.

Я уже в таком состоянии, что даже мое собственное тело начинает на меня действовать, смотрю я на него твоими глазами. Мне мучительно раздеваться, купаться, все, все мучительно. Сегодня перед сном еще прочту твое письмо. Я сойду в подвал, сяду у стиральной машины на пол, месяц будет светить в окошко. Не бойся, там не страшно.

У меня был на лифте феноменальный разговор с шестилетним мальчиком, который мне рассказывал, как на прошлой неделе нашел дома в кресле мертвого папу. Я потом говорила с его мамой, и та мне подтвердила, что у нее муж застрелился. Мальчик это рассказывал, как криминальный роман. Казалось, что единственное, что его сердит, — полицейские, которые все время что-то ищут в их доме и тоже заботы со страховками и продажей квартиры и другие дела. Я с мамой тоже долго говорила, у нее была тоже невероятная дистанция к этому. Так как были у нее зеркальные очки, глаз не видела, но она все смеялась, хотя говорила, что ночью больше не спит.

Ездили в Падую, где спали, к завтраку на стол поставили банку с золотой рыбкой. Банка круглая, маленькая, а рыбка уже психотична. Все нервно кругом, и кругом страшно было смотреть. А хозяйка — толстая добрая пожилая женщина — с уверенностью сказала, что рыбке хорошо. "Рыбка маленькая и стаканчик маленький. Как раз подходит. Сыплю ей зерничка, вот так". Мне было по-итальянски трудно объяснить, что растений нет, воздуха у нее нет, только грязная вода и стекло. Так и ушла, не спасив рыбку, а теперь уже далеко.

Твои звонки меня очень расстраивают. Они такие корот-

кие, как шприц, но я, как наркоманка, не хочу от них оторваться. Я чувствую такую хрупкую воздушную связь, ее легкость меня не порабощает, я так счастлива, что, ничего не требуя, получаю. Хотя такие законы всем знакомы, они в конкретном случае какая-то мудрость. Я себе припоминаю определенные сцены и фразы: вот как ты в парке сказал, что тебе со мной хорошо, и я делала вид, что не слышала, и ты должен был повторить. Из-за тебя читаю роман, и там описана ревность, мне все страшнее и страшнее от этой книги, больше всего испугало, как он описывает, как слова уничтожают. Вот слов я боюсь, не твоих, а моих, так как они так быстро приходят и потом навсегда.

Друзья-эмигранты оставили нам детей. В них уже есть что-то мне совсем чужое, хотя я их и люблю, но они мне чужды, и их тела, которыми глазами наслаждаюсь, и их личность. Особенно в девочке есть что-то ужасное, жестокое и узкое и что-то очень женское. Мне страшно смотреть, как оба мальчика ее стучают и унижают. Тем более ее защищаю, но ее и презираю. Вот сын ей угрожал, что позовет полицейского, чтоб тот ее бросил в тюрьму, и она ему ответила: "И потом у вас никто не будет, кого бы могли бить". Ей четыре года. И мои меры воспитания от отчаяния грубые. Царит сила. Как раз (уже полночь) у этого мальчика был какой-то припадок. Он дрожал, куда-то стремился, какие-то страшные звуки из него выходили. Это было невероятно страшно. Меня моя мама сегодня утверждала, что он ненормальный. Я на нее за это ужасно рассердилась, и теперь мне эта фраза повисла в голове. В этом была ужасность жизни, что он такой маленький, напряженный, костлявый так мучится, так боится и именно ему есть чего бояться. Потом сразу успокоился и уснул опять.

Я приехала из Вены не замечая ничего, не вслушиваясь в разговоры. Дома меня ожидала мышь, — как я и боялась. На кухне была вонь, и я слышала, как скребет мышь. Мне было так отвратительно. Вспомнила про Сартра, что через

отвращение ощущаешь существование. Но это существование было голое, как смерть. Вставила затычки в уши и легла спать. Проснулась больной, потеряла голос. К обеду поймала мышь и беспощадно подбросила коту, но тот ее не тронул. Здешние коты, очевидно, не знают мышей, и мыши не знают их, так как моя мышка очень доверчиво пошла его онюхивать, и он был от этого в изумлении. Сын так и сказал: "Видишь, мама, кошки не едят мышей". Твоя сдержанность в Вене мне опять больно напомнила твой характер; я год назад точно в таком депрессивном состоянии уезжала из Мюнхена, после того как не сумела соблазнить наркомана.

Возлюблённый, я так несчастна с тех пор, как ты мне позвонил. Хочу за тобой поехать, только боюсь, что ты мне не позволишь. Помнишь, тот венгр, который прыгнул в окно и месяц назад вернулся в Будапешт, теперь бросился там под поезд и окончательно умер. Когда сказали, я испугалась, что и ты бы мог умереть. Самое страшное, как он в этот раз это аккуратно сделал. Купил билет в ближайший городок, поехал поездом, сошел, пошел назад в туннель и там подождал поезд. Как ему должно было быть страшно, как он ведь должен был бояться, что больно будет, не думаешь? И представление своего трупа, как он мог это выдержать. Вот этого испугалась, что, может, я тебе что-то плохого сказала, так как и в него не вслушалась. Так и чувствую себя частично виноватой, что тот так brutally умер. Ведь если б выпил таблетки, это еще понятно. Хочу с тобой. Я сама стараюсь спасаться, чтобы меня эта любовь не разрушала, чтоб я могла жить, а не все время умирать, поэтому стараюсь у нее отнимать значения и брать ее легкими руками. Я так не хотела тебя опечалить, уже так боюсь тебе писать, зачем ты такой темный человек? Когда ты исчез с поездом, я успокоилась, как вылечившийся наркоман. Зашла на себя посмотреть в туалет, у меня было чувство некрасивого лица, усохшего, ничистой кожи, и так и было. Когда я твоему озлоблению извинялась, только из-за того, что тебе причинила боль и из-

за того, что никогда не хотела убивать самое дорогое и мою единственную трансценденцию. Как может кто-то захотеть убить суть своего существования? Только когда ее потеряет, может и от существования отказаться и в этом надеяться ее опять найти. Ты лучше не звони. Когда звонишь, заражаешь меня вне цикла, все гормональное хозяйство в течение секунды разрушается и начинается хаос, который меня и морально и физически разлагает. Я тебя подозреваю, что себе "американскую обиду" придумал, чтобы у тебя было оправдание для какой-то твоей любовьнеспособности. Ты все думаешь, что любовь то, что тебе надо, что соответствует твоему вкусу, что не ломает рамки твоего мира. Я тебя в этом отношении считаю незрелым. Я, конечно, в поступке с американцем тоже оказалась незрелой. Очень рада, что связаны только свободой. После звонка. Точно, как и ожидала, меня облила волна отчаяния, но я переплыла ее и теперь осталась только мокрой. Мои собственные поступки из вчерашнего дня больше неправда, поэтому не можешь меня винить за давние, я только сегодня. И еще раз к американцу. Это было, кроме эксперимента и знания, что все обречено на эпизод, как сказано в сказке: пойдешь налево – худо будет, пойдешь направо – еще хуже. И пошла направо. Все было вне настоящего. Только театр, жажда играть роль в пьесе о разврате. Совсем вне меня. Поэтому рассказывала, как пьесу, еще и с бурей. Настолько все банально, что, как в дешевых романах, и странно, что я режиссер и что это моя жизнь. Во всем ничего оригинального, наверно, поэтому ты меня и разлюбил. Но рассказала не чтоб тебя мучить, а чтоб ты со мной порадовался, что такой у меня был выбор, точно, как я тебе все другое говорю и тебе интересно.

Доктор произвел на меня длительное впечатление. Он настоящий клоун гороховый. Я теперь поняла, значит, окончательный циник. Он детерминист, в этом есть что-то божье в нем, как у горохового. Он не борется, героев с души презирает, их мужество для него наивность, он ведь знает, что все

это ни к чему, что скоро война будет и всюду коммунизм. И ему все равно. Его все это интересует только как научное, только как Бога, мол посмотрим, как все выйдет, хотя это неправильно сказано, он ведь знает, как будет. Узкие азиатские глазки сверкают. Публика у нас давно такое не видела. Для всех было понятно — это монголы, у них другие масштабы, но хотя Доктор это и говорил, не от этих его слов это пошло, а от него самого. Это была психодрама. Когда-то в половине спектакля внезапно сбросил маску идеолога и начал играть самого себя. Разыграл всю диалектику. Ты мне с разумом, я тебе с сердцем, ты про статистику, а я символом. Говорил, как святой пророк. Мы сидели на подиуме — пятеро, внизу в темноте триста человек, и я в эту темноту говорила его немецкие фразы, как "третья мировая война неизбежна", и чувствовала, как все замирают. Я чувствовала, что все мы накануне погрома, и все-таки в этом было удовольствие театральности. А он после спектакля был, очевидно, веселым.

Если не сочтешь безвкусным, у меня еще одно оправдание. Факт, что тебе рассказала эту историю, взошел от чувства, что я все еще ребенок и все мне разрешено, от автоматизма — так всегда делала, привыкла, и тоже от чувства риска. Я так привыкла рассказывать такие эпизоды, что не могла сдержаться. И знаю, что не рассказала бы у озера, рассказала бы позже, в гораздо более невыгодных обстоятельствах. Должна была рискнуть и узнать, что случится. Все было уже в нашей судьбе сложено. Только вопрос времени и выгодного случая. Если на это так помотришь, еще выгодно вышло, не разлюбил совсем и не так ужасно все. Я не могу до глубины понять твоей реакции, и ты не можешь моего поступка. Это печально, да? это раскол? Мне кажется, как будто я жила со слонами и встретила жука.

У моей коллеги уже тринадцать лет любовь к ее бывшему психиатру, шестидесяти трехлетнему старику, который на ее новую книгу стихов, написанных для него, только сухо отве-

тил: "очень по-дружески". Но это была, кажется, самая сильная фраза, которую она получила от него в течение последних лет. Пришла вчера попросить меня идти на его лекцию в университете. Выкурила при этом уйму сигарет, и ее лицо, как у мальчика, было в других сферах. Она знает про безнадежность этой любви, которая мне напоминает мою первую любовь с тринадцати до пятнадцати, когда я его два года не видела и каждый день, каждое утро надеялась случайно встретить. Всегда волновалась про свою внешность и была даже благодарна случаю, что его не встретила, будучи такой непривлекательной. Так его и не встретила. Она точно так, сама не смеет идти на лекцию и просит меня. Ни слова не проронила, а только про старикашку. Она мне, думаю, напомнила тебя, а не себя в ее безумии.

Страданье мое, мне так больно от тебя, и каждое утро пробуждаюсь с чувством ужаса и, просыпаясь, только его чувствую и еще не знаю его причину, лишь ощущение чего-то страшного, и потом прихожу в себя. И чем мне больнее, тем нежнее тебя люблю и так люблю, что умереть хочу.

”...МОЯ РОДИНА ОДИНОЧЕСТВО”

Во сне, откинув правую руку, нащупать пустоту и счастливо улыбнуться.

Шоссе, вычерченные лекалом, не сдерживают полета фантазии. Она разбегается, чтобы работать наедине. Край этот вертикален. Если его разглядить и расправить, то получится огромная плоская страна, целый континент. Тогда бы лица туземцев, стремящиеся к профилю, стали широкоскулыми и круглыми. Тогда бы на лицах здешних женщин умещались тысячи поцелуев. Теперь же на остром осколке губы может приютиться пол, от силы две третьих поцелуя. Край этот похож на лошадь, брошенную на спину. Ее тело изображает движение, но не по горизонтали, а вверх. Ветер не бьет в лицо, не развеивается бурка.

Я приехал сюда давно, на несколько дней, но так и остал-

ся тут. Сперва часто звонил близким, они спрашивали, когда вернусь. Не сомневаясь в искренности своих слов, я говорил: через неделю-другую. Потом, принявшись писать Хронику, перенес отъезд на весну. Я ехал сюда с десятью сорочками, будучи уверен, что мне хватит их дней на двадцать. Сорочки погладила и уложила мама. Стирая пыль с чемодана, она приговаривала: смотри же, меняй сорочки, а не хватит — купи новые. Сорочки эти я давно сносил и когда в последний раз, года три тому, говорил с мамой по телефону, сказал, что выполнил ее наказ: купил сорочки.

О, как прозрачен и чист целительный горный воздух. Из него отливают долины и пропасти, он оттачивает форму носа, окрыляет легкие, от него лопаются, как лампочки, головы детей и стариков. Безумные искатели эликсира жизни, оторвите глаза от пузырьков и пипеток, от колб и реторт, хватайте бидоны, кувшины, окна с двойными рамами — и в горы! Идет раздача горного воздуха. Кому добавку? Тянутся, тянутся караваны, груженные воздухом, во все концы света. Но разве удержишься на извилистых тропках над ущельем, разве ухватишься за собственный тонкий крик, тонущий в горячей брани стиснутой валунами студеной речушки?..

Туман, овечьё бляение, размытые пятна гор. Острое, как брынза, воспоминание. Высокие, полные жизни мать и отец. Резвые голоса сестер, братьев. Отец что-то неслышно рассказывает матери, пока она, улыбаясь, поглаживает его револьвер. Португез снята, кобура раскрыта. В запахе солоноватого на вкус кожаного ремня угадывается то ли дым, то ли пот. В углу грудой свален привезенный отцом каракуль. Кажется, он дышит. Мы уже знаем: вечером придет закройщик, замерит сантиметром наши плечи и талии, пошуршит шелком для подкладки и уйдет, шепоча цифры. Нет, не выйди нам всей семьей, облачившись в каракуль, пред завиду-

щие очи других гарнизонных семей. Не протягивать закройщику руки за золотым. Не возвращаться больше отцу из набега. Но отчего я вспоминаю все это здесь, в Краю тишины и покоя?

Молчание — здешний язык. Эхо молчания — язык здешних поэтов. Мне пришлось провести в Краю долгие годы, прежде, чем я разобрался в свойствах тишины. Для тишины у краян существует около трехсот обозначений: сырая тишина (закушенная нижняя губа), тишина скандала (отведенный до предела большой палец), тишина повиновения (поджатые ягодицы), тишина разочарования (неподвижная грудная клетка), тишина любви (скошенные до боли глаза) и так далее.

Поэзия же краян практически недоступна чужеземцам. Понятен лишь принцип: к примеру, вместо того, чтобы обозначить тишину разочарования соответствующим знаком или жестом, выбирается совершенно иной знак, хотя подразумевается именно тишина разочарования. Лишь благодаря общей атмосфере стихотворения понимаешь дерзость замысла поэта. Шедевры лирики краян — это стихотворения, в которых все знаки не соответствуют их традиционному смыслу. Эти шедевры можно понять лишь с оглядкой на контекст жизни и всей поэзии. Кроме того, все усложняется предельно причудливыми строфикой и просодией. Долгота цезур колеблется: она может быть равна долготе взмаха ресницы или падения осеннего листа на дно пропасти. Простои и паузы легко объясняются бесчисленными пустотами и пробелами в ландшафте: будь то растопыренные вершины или разбросанные по холму овцы, или растопыренная пятерня (тишина вожделения). Впрочем, объяснение это и впрямь слишком уж простое, ибо нет оснований считать, что местность и образ жизни определяют поэзию, а не наоборот. Прозы у краян вовсе нет.

Под горами пролегают туннели. Они тянутся месяцами. Можно взять билет на сентябрь и вынырнуть где-то у побережья во второй половине апреля. О подобных путешествиях рассказывают сотни историй. Что может быть привлекательней и страшнее жизни на ощупь! В составе есть вагон-церковь, вагон-безопасность, вагон-богадельня. Люди, полюбившие друг друга пальцами, руками, знающие друг друга лишь по прикосновениям, как правило, боятся конца пути, упрасивают, приносят драгоценности, валяются в ногах у машинистов: будьте великодушны, Бога ради, убавьте скорость, затормозите, поверните вспять, мы так боимся увидеть друг друга. Машинисты неумолимы. Процент самоубийств в туннеле значительно выше, чем на земле. Но браки, заключенные в вагоне-церкви, намного устойчивей, чем где бы то ни было. До краев доносится гул поездов, но крайне никогда не пользуются ими.

В Край я приехал в поисках одиночества. Писание Хроники – не более чем отговорка. Дома мне мешали чужие слова. Мой мозг жил вне законов трения и притяжения. Едва ли не каждое слово, услышанное или увиденное, вызывало во мне обвалы, лавины. Я не успевал ухватиться за спасительную ветку или корень, нависающий над оврагом, меня швыряло из стороны в сторону, несло по течению, затягивало в водовороты. На службе все мои силы уходили на то, чтобы ничем не выдать ежеминутных катаклизмов, происходящих внутри. Всего невыносимей были дети, мои дети. В исследованиях по психологии довольно подробно анализируются истоки и характер детского словотворчества. Но мне не было дела до исследований. Я понимал, что с моими детьми, особенно с дочерью, происходит нечто подобное тому, что происходило со мной. Но как легко и естественно они это принимали! Я отчаянно барахтался в потоке, а они, повинувшись инстинкту, отдавались ему, и порой казалось, что именно они управляют потоком, их хрупким коленкам повинуются

его бычьей шее. Дома я почти не вынимал из ушей отвратительных розовых затычек, кушанных в аптеке. И вот — отъезд. Гигантский скачок. Перепад. Взятие звукового барьера. Измотав вконец, меня выбросило на берег, на сушу, на твердую почву. Теперь я отчетливо вижу, словно на карте звездного неба, холодные раскаленные слова, связанные во времени и пространстве. Каждую полночь я совершаю прогулку. Это старая привычка, которой уже можно было бы изменить: ведь в Краю улицы ночью не менее пустынно, чем днем. Перед сном я часто повторяю про себя слова одного забытого всеми поэта: "Моя родина — одиночество. Я эмигрант". Как бы он завидовал мне!

На днях случилось нечто дикое. Я возвращался вечером домой. Внезапно из перелеска, справа от дороги, появились два крайнина с охотничьими ружьями, ягдташами, в высоких сапогах. Рядом бежали борзые. Я не успел всего разглядеть, ибо тотчас пустился наутек. Поднялась пальба. Сперва я спрятался за какой-то скирдой, потом метнулся к проволочному заграждению, перепрыгнул его и упал, распластавшись всем телом. Собаки пронзительно визжали. Меня подняли пинком сапога в бок. Связали руки, долго куда-то вели. В пещере, в полной темноте, меня раздели догола и выбросили вон.

"В сумеречный предрассветный час его голое исцарапанное тело продиралось сквозь чашу, его распухший язык изрыгал проклятия".

По утрам крайники выбивают перины и пуховики. В разреженном воздухе каждый удар звучит хлестко и отчетливо. Пырьшки и пушинки, подрагивая в такт ударам, медленно поднимаются ввысь. Запах спермы щекочет нос. Рас-с! Рас-с! Рас-с! Их лица, как бы продолжающие нос, синеют от иступления. Сухие щелчки все учащаются и наконец перерастают в рокотание каменных обвалов, грохот снежных лавин, стон

разбуженных ледников. Идет страстная работа по очищению и искуплению. Всякий раз я едва сдерживаю себя, чтобы не броситься на одну из краянок, в изнеможении упавшую задом вверх на перину.

Свой шанс я упустил. Это случилось почти тотчас после моего приезда в Край. Утром на пустынной тропинке я встретил краянку. Кажется, мы часто встречались с ней прежде. Но на этот раз она остановилась. Я опешил. Ее синеватая шея, сливающаяся с подбородком, взбухла. То ли слово, то ли звук шевелился в ее губах. Скосив глаза, она выгнула руку и разжала кулак. На ладони чернела пригоршня сморщенных смерзшихся оливок. Я то ли ничего не понял, то ли притворился, что не понял, и, пробурчав нечто вроде "извините", бочком прошел мимо. С тех пор я не видел ее.

Зеркал в Краю нет. Раз в год, в марте, выпадает такой густой отвесный дождь, что в нем можно увидеть свое отражение. Несколько лет я пренебрегал этим дождем, отсиживался дома. Но потом даже стал ожидать его. Кажется, я похорошел. Кожа разгладилась, губы порозовели, залысины больше не рвутся назад. Но все же лицо свое я узнаю всегда: лоб, такой морщинистый, словно на нем отпечатались ступни, припухшие веки, рыхлые щеки, подбородок с ямочкой. Лишь тот, кто любит это лицо, отважится его поцеловать. Как же безумно ты любила меня! Иначе не объяснишь этих бесчисленных влажных "здравствуй", "пока", "доброе утро". Из-за того, что дождь движется, я все время боюсь, что отражение внезапно схлынет. Я жадно смотрю, не отрывая глаз, и пока одно мое лицо, отраженное дождем, страстно всматривается, другое скользит вниз и, смешавшись с глиной, муравьями и отражениями тысяч краянских лиц, падает, клокочет и рассыпается на мириады брызг.

Когда приходит ночь, я выхожу на прогулку. Волосы и

брови сразу набухают росой. От звезд першит в горле. Я слушаю переключку ключей и мог бы уже с закрытыми глазами отличить ключ Молочной Расселины от ключа Лысого Пригорка или ключа Щербатой Зазубрины.

На всякий случай у меня всегда есть ответы на неожиданные вопросы. К примеру, если ко мне вдруг подходит четверка — а она всегда делает это вдруг — и на своем хорошо выученном языке спрашивает: "Что это вы здесь, — и глагол, ну, скажем, — ходите?" — я быстренько ставлю ее в тупик, так как лингвистические тонкости ей не под силу: "Не хожу, а прохаживаюсь". А если: "Что это вы здесь стоите?" — то: "Не стою, а только приостановился". Пока она ломает голову над значением префикса и суффикса, я гордо, как ни в чем не бывало, удаляюсь. Конечно, нельзя исключить, что вопроса может вообще не последовать, и четверка предпочтет прямое действие. Не знаю даже, что тогда предприму. Но каждую ночь страсть снова услышать переключку ключей побеждает страх.

Пьют они сырную настойку. Лично мне она не по душе, не по телу. Утром встаешь с таким ощущением, словно всю свою жизнь ел только сыр. Даже моча пахнет им, а кал становится почти светлым. Других напитков просто нет. Но, кажется, я нашел выход. На пяточке, поблизости от Кипящего Гейзера, растет дикий виноград. Никому до него нет дела, так что несколько раз в году я собираю по пять-шесть больших корзин винограда. Жалкие гроздья с виду напоминают плоские лоскутки каракуля; сами ягоды мелкие да к тому же с крупными косточками, но других нет. Дома я давлю виноград в деревянном чане испытанным древним способом. Всю комнату наполняет аромат раздавленных ягод и подолгу не выветривается. В эти дни я живу в каком-то блаженно ускользящем мире и то и дело во сне стараюсь притронуться к своим липким голням. Даже косточек не выбрасываю до тех пор, пока

они не сгниют. Когда молодое вино отстаивается в больших бутылках, я чувствую, как во мне самом что-то бурлит и бродит. Стараюсь ступать осторожно-осторожно, чтобы не пере-литься, не дай Бог, не дать трещину. Когда вино готово, я застилаю белую тугую скатерть, ставлю на стол хрустальный бокал и медленно наполняю его. Если б не этот белесый ландшафт за окном, не эти синеватые лица, не напряженное молчание, слегка отдающее сыром, то мое вино, быть может, не казалось бы таким дразняще терпким, вызывающе красным, умопомрачающе ярким.

У меня – кожаный, у тебя – бархатная. Лучше всего это помнят руки. Твои тоже? Мне больно вспоминать, но я не могу удержать себя. В часе ходьбы от моего дома есть поляна, по которой разбросаны валуны. Каждый валун покрыт пронзительно зеленым, как глаза, мохом. Сюда прихожу я, когда память о тебе становится невыносимой. Крепко зажмурившись, я глажу мох. Мои пальцы не спешат. Черные круги слепят глаза. Вся острота зрения сосредоточивается в руках. Ползком я передвигаюсь от валуна к валуну и всюду нахожу тебя. Да – это ты. У тебя – бархатная...

Всё. Всё. Всё. Для меня не существует больше "где". С ним покончено раз и навсегда. Горы, я презираю вас. Море, грош тебе цена. Равнины, из сердца вон. Больше меня не будет мучить мысль, куда уехать, где жить. Всегда я искал место. Я хотел не так уж много: найти ту идеальную пропорцию сини, влаги, любви, света, вина и чтобы эти составные можно было всякую минуту осязать, но невозможно отделить друг от друга. Я бы пил вино – но это было бы любовью, я бы смотрел в небо, но мне бы казалось, что по моему телу струится вино, я бы пил вино, но видел, как солнце просвечивает мою ветвистую ладонь. Теперь мне остается лишь "когда". Я сижу, прижавшись спиной к горячим кирпичам. На столе – исписанные листы Хроники. Я загадываю: прос-

нуться в минуту, когда все, абсолютно все спят. Нет. Жить только в одну пору года. Тогда в какую? Конечно же, когда виноделы разувает ботинки. Я перебираю в памяти мгновения, месяцы, времена и нахожу, нахожу, когда приютиться, когда найти пристанище.

”...На исходе первой декады материк покрылся изморозью страха. Люди собирались у костров, лишь бы быть вместе. Говорили шепотом. Кричали только сумасшедшие и дети. Сумасшедших тотчас увозили в фургонах в лечебницы. Детям пытались втолковать необходимость соблюдать тишину, но горячий шепот родителей только возбуждал их. Самых неугомонных отправляли в интернаты. Там за звукопроницаемыми стенами они исходили криком. В сумеречный, предрассветный час звукопроницаемые интернатские стены раскалялись от крика, но не пропускали ни звука. Постепенно со взрослыми остались только самые мудрые дети. Они на равных перешептывались с родителями и так чувствительно реагировали на волны страха, что он казался еще материальней. Призрачные троллейбусы и такси беззвучно и медленно, преодолевая сопротивление густого воздуха, скользили по улицам городов. Их словно несло ветром, космическим ветром. У пассажиров возникало иллюзорное чувство защищенности, будто они только зрители, наблюдатели. Они не хотели выходить наружу, и некоторые выбрали голодную смерть на колесах. Такси, в которых сидели мертвецы, разъезжали с желтыми огоньками. С каждым днем желтый цвет все нахальней вытеснял другие цвета. К шепоту подмешивался шелест листьев, дождя, отклеившихся афиш, флагов. Поэты сдавленно декламировали у костров свои стихи, перегруженные шипящими, но бормотание и шушуканье безобразно диссонировали с полнотой чувств и мыслей. Чем вдохновенней становились поэты, тем больше их ненавидели. Непримируемой всех были дети: они оплевывали поэтов с ног до головы, и если к костру при-

ближался человек, покрытый мокротой, все тотчас плотно окружали огонь, и пришельцу ничего не оставалось, кроме как уйти прочь, изрыгая рокошующие проклятия. В конце концов война детей и поэтов закончилась полным поражением последних. Ко второй декаде шепот уже почти вышел из употребления. Всюду господствовал язык глухонемых. Поначалу уроки языка брали у глухонемых частным образом. Глухонемые были нарасхват. Им все завидовали, ими восхищались. Дети выучивали язык жестов в считанные дни. Поговаривали об образовании Совета, в который бы вошли только глухонемые и дети. Но понемногу все утряслось. Многие научились жестикулировать без всякого акцента. Язык глухонемых оказался на редкость выразительным, богатым и ясным. Он вдохнул жизнь в театр, и театральные залы ломились от зрителей. Трагедии разыгрывались в полной тишине, и лишь по сухим взрывам аплодисментов можно было судить о накале страстей. Язык глухонемых стал латынью эпохи декад. Об образованности человека судили по его способности жестикулировать. Красивые пальцы стали залогом успеха среди мужчин, а жилистые кисти — залогом успеха среди женщин. Люди руками разгоняли страх, и это им отчасти удавалось...”

Ломти синевы с прослойками тумана. Чешуйчатое озеро. Каменные колокольни. Куда ни бросишь взгляд — не ошибешься. Пыхтя, обливаясь потом, он взбирается все выше и выше, стараясь достичь пика восторга, вершины счастья.

ИЗ ДНЕВНИКА

Всех людей, которые носят траурные повязки, я бы убивал. Даже если забыть, что они лишили меня беззаботного, безоглядного, без единой морщинки детства, прощения им нету. Черной лентой окольцована моя детско-отроческая радость. Счастье приходило, когда ему потакало пространство. Все в тебе хочет петь, хочет приплясывать, но лишь когда выходишь наружу, из подъезда в переулок, с узкой улицы на проспект, с проспекта на площадь, с площади на вокзал, все в тебе и впрямь поет или пляшет. Человек с траурной повязкой, мелькнувший в переулке или на площади, означал "замри". Праздник кончался. "Горячо" переходило в "холодно", и эта игра обретала реальную анатомическую температуру. Хорошо, что этот человек никогда не был твоим подлинным соотечественником. Что-то всегда его выдавало: венозный нос, покрой плаща, акцент во взгляде. Сам факт

креповой околесицы на рукаве роднил с тем или тою, кто не расслышал, не внял плачам и причитаниям. Человек самолично, графически, зримо приобщался, образно говоря, к иной жизни. Всем своим видом утонченного выскочки он показывал, что до срока посвящен в тайну. Его рыхлое лицо впитало эротические страдания усопшего. Целой школе не хватило бы промакашек, чтобы промакнуть его брызжущее соком горе. Щеки пухлы, живот торчком. Хлеб и мясо поминок никому не идут впрок. Бесстыжее изящество, элегантность бросают встречных в бледность. Черное разлучальное колечко, черные круги под глазами, соскользнувшие на руку. Как легко угадывается безделка мастера метонимии: вместо того, чтобы стянуть кольцом все туловище, он набросил повязку на плечо. В ней нет — как и подобает обстоятельствам — даже намек на усилие, на мускул. Она держится непонятно на чем: на памяти или на слезе. Глаза сужаются под стать, манжеты подыгрывают узине, вертикаль фигуры лишь подчеркивает плоскую проекцию повязки. Приближающиеся и удаляющиеся тоже соотносятся с нею. Все связано черным шнурком, и кто потянул его, пересек границу.

Тех, кто сочувствует людям с траурной повязкой, умерщвлять следует безотлагательно. Они не только посмели заметить, но и присоседились к чужому торжеству. Украдкой они подливают себе соленое вино из ворованной бочки. На дне их сочувственных глаз чернеет зависть. У них ведь тоже есть бабушка, дедушка, мать, отец. Кто же не мечтает о смерти ближнего? Человека, переночевавшего в одном помещении с покойником, невозможно не уважать. Эта ночь позволяет ему снова стать язычником. Отдаться такому или такой — почет. Однажды и мне выпало счастье завешивать зеркала. О нет, я лишь помогал. Маленькое настольное зеркальце для бритья я любовно завесил своим носовым платком. Свет померк, и мы тотчас бросились в объятия, вгрызаясь друг в друга зубами, когтями, кадыками. Пока дом обхо-

дили стороной, чтобы и звуком не нарушить мемориальной тишины, за его темными окнами клекот исклевывал рычание, а рычание перегрызало глотку клекоту.

Но тех, кто не замечает траурных повязок и потому не испытывает сочувствия, должно выжигать каленым железом. Раз ничто не полоснуло им по глазам, значит они слепы. Раз их барабанную перепонку не пронзил вопль, значит они глухи. Они не любят своих ближних, ибо не желают им смерти. С такими меня ничто не связывает: ни детские воспоминания, ни юношеская страсть.

Больше всего людей с траурными повязками в Греции и в Западной Украине. Начинать следует оттуда.

– Папа, это смешно?

Вопрос постыдный. "Смешно" не бывает само по себе. Это всегда встречное движение, стык, перехлест. Судить о том, что смешно, можешь только ты сам. Без тебя оно не может стать смешным. Самое чистое выражение смешного – в музыке. Смеясь музыке, невольно оглядываешься. Быть пойманным на таком смехе, все равно, что быть уличенным в безумии. Но, кажется, пора отвечать. Рука уже в полете. Сейчас раздастся звонкая, как смех, пощечина.

Сухость и влажность лучше всего получались у итальянских и голландских мастеров. У итальянцев – сухость, но не та, когда облизываешь губы или ломаешь гребешок о волосы, слепленные песком. Это сухость любимой ладони, которой нечего бояться. Когда к ней ни прикоснешься, она всегда приветлива, гостеприимна. Она ничего не стесняется. Она в теплой тени любви. Так итальянская сухость всегда в тени моря. Назовем ее влажной сухостью. У голландцев – влажность. Сдавленные улицы, скользкие, как рыбы. Кривые рыбы, скользкие, как брусчатка. Пальцы кухарок еще не вытерты о тряпку. Губы девушек еще блестят от воспоминания о поцелуе. В отсыревших складках одежды солнце ни

дноет, ни ночует. Запекшаяся кровь на фазаньем крыле мягка и липка. Пятно с прозеленью (даже солнечное), тень со свинцовым отливом никогда не просыхают. Влажность зависит не от времени или погоды, а от колорита. Мечта о Голландии — это мечта о сырости. Если снова спросишь, за что люблю тебя, отвечу: "За ладонь и за губы".

Как только Бруно ушел, я бросился в ванную. Это можно выразить только слезами. При всем моем отвращении к заговорществу, с Бруно я чувствую себя заговорщиком. На месте окружающих я бы просто уничтожил нас. В нашем обмене жестами, позами, улыбками заключена душераздирающая тайна. Я бы хотел, чтобы он был намного старше или младше меня. Тогда моя жизнь была бы намного длиннее. Но мы погодки. Мы знаем всех, абсолютно всех. Однажды мы просто взяли ручку и подсчитали. Оказалось, шестьдесят семь. Один из них — в Дрогобыче. Если учесть, что дрогобычан не так уж много, то Дрогобыч — столица мира. Жена колотила в дверь, но я не открыл. Правильно делает, что неистовствует. Как глупа была бы она, если бы не рыдала.

Медленно, чтобы чуть что — отпрыгнуть, отпрыгнуть, исчезнуть в ближайшем подъезде. Осторожно-осторожно, почти на цыпочках, чтобы не успела: пока дрожащей рукой растегнет ридикюль, откинет вуаль — тебя и след простыл. Она может ждать за каждым углом. Она ждет. В ридикюле — пузырьки с серной кислотой. Еще хорошо, что предупредили. Иначе — нет, даже подумать страшно.

В эту блеклую линиящую пору у меня начинается глазная цинга. Тоска по цвету так невыносима, что в течение двух месяцев я живу с крепко сомкнутыми веками. Эти два месяца я словно провожу на Средиземноморье. Мой мир обит синими, оранжевыми, зелеными лоскутками. На зубах похрустывает цедра. Колени, бедра в ссадинах и царапинах. Я

постоянно натыкаюсь на стулья, комод, ударяюсь об углы. В эту пору подруги жены и одноклассницы сына невозмутимы и великодушны. Страдальцу все позволено, все его, грешного, прощают. Но самое лучшее средство от глазной цынги — коньяк. Его горячие лучи просвечивают и пронизывают все тело насквозь. Ликующий голос сына — "Папа, папа, снег!" — всегда застаёт меня врасплох. Прощай, Адриатика! Скоро, скоро мы встретимся, чтобы никогда не расставаться впредь.

Из окна виден лишь кусок площади. После дождя она блестит. Сбоку, с невидимой части, доносятся детские голоса. Дети хохочут, грызут каштаны, насвистывают, прищипывают. Потом разом въезжают на коньках, чтобы тотчас разъехаться кто куда. У блеска минусовая температура. Звонкость спорит с тонкостью и на этот раз не терпит поражения. У каждого точильщика своя площадь. Наперегонки с искрами дети несутся по кругу. Когда их не было видно, я различал сполохи итальянского. Но стоило им встать на коньки, как они сразу же перешли на датский и норвежский.

Больно, когда ощущение себя, собственный образ не совпадают с твоей же жизнью, когда между ними зазор. Значит, неправильный размер. Как с обувью. Либо жизнь жмет, либо она велика на тебя. Что делать? Вопрос нелепый. Ответа на него нет. Это уж ты сама решишь. Попробуй разобраться, почему упорно носишь не свой размер. Твое восприятие мира не соответствует миру. Вон тот человек высокий, а этот маленький. Это не моя точка зрения. Если их померить, то можно даже узнать, насколько один длиннее другого. У тебя как в старой живописи: перспективы не существует. Ты не видишь, что кто-то дальше, кто-то ближе. Если постороннему или почти чужому ты вдруг говоришь, что тебя тошнит от фиолетового цвета, он ставит диагноз и разговаривает с тобой еще вежливей. Ты и себя не видишь со стороны. Должно быть, это у тебя с детства. Так ты понимаешь женскую

прелесть. Неведение и непосредственность. В жизни принцессы похожа на опереточную героиню. Свою детскость ты поощряешь и развиваешь. Конечно, это срабатывает, но лишь благодаря самой жизни. Когда мы к ней не приспосабливаемся, она приспосабливается к нам. Принцип компенсации. Люди с нарушенной координацией движений редко с кем-либо сталкиваются. Это благодаря сноровке встречающих. Я не уверен, что тебе следует что-то менять. Хотя, если больно, попробуй. Начни с поведения. Просто веди себя как принято, как пишут в книжках о хорошем поведении. Это удобно — и окружающим и тебе самой. Чувства обретут какую-то форму. С лицом еще не все потеряно. Но лет через пять будет поздно. Нет, на твоём лице не хаос, а слабость. Слишком уж потекаешь себе. Пожестче с собой. Настоящие принцессы выносливы. Нет, это не история болезни (или здоровья). Я мог ошибиться. Мы ведь почти не видимся. Нет, никому не скажу. Кроме тебя, все это едва ли кому интересно.

Маленькая страна, усыпанная апельсинами, как ребенок корью. В траве валяются апельсины-паданки. Ребятишки бросаются мандаринами, подростки — апельсинами. Роль апельсинов в истории этой страны, в ее искусстве и религии определяющая.

Одну комнату я полностью заставил кувшинами, бутылками, жбанами. Прежде она была нема. Теперь зазвучала. Когда кто-нибудь приходит в гости — а в гости никто никогда не приходит — я веду гостя в комнату с кувшинами и спрашиваю: "Слышите?" Только сумасшедший ответит "нет" или "что слышу?". У каждого сосуда свой голос. Молчит лишь один. Его хрупкое горло навсегда впечаталось в мои ладони. Но эта тягучая, персидская, тягучая песнь...

Почему? Как решали: собравшись вместе или порознь? Думали о детях, внуках, правнуках? Отдавали себе отчет, на-

сколько это важно? Прожили все четыре поры года и уже тогда решили? Или вовсе не решали, понадеявшись на своих идолищ? Что же они наделали? Куда глаза их глядели? Черт с ними самими, но дети, внуки, правнуки? Или блажь какая нашла? Или думали, что лишь тому будет хорошо, кому поначалу плохо? Почему этот каменистый тусклый берег? Эта безучастная хвоя? Это сирое небо? Разве не чуяли, что где-то дальше рыхлый пушистый воздух, сладкий колер, берег нараспашку? А может, и вправду не чуяли? Но если так, то ведь это еще хуже, еще невыносимей, да?

В комнату входит стюардесса. У нее движения и поступь хозяйки. Мы пристегиваем ремни. Мимически она объясняет, что следует делать в случае аварии. Ее пантомима возмутительна: весь трагизм сведен на нет формальностью и топорностью жестикуляции. Отстегнув ремни, мы возвращаемся к шахматам. Сын снова проигрывает. Присутствие стюардессы не отвлекает. Она позвякивает на кухне. Наконец, приносит обед. Я ворчу, что нет соли. К вечеру мы чувствуем себя утомленными: продолжительность путешествия все же дает себя знать. Пора спать. Я раздеваюсь и ложусь в кровать. Близость звезд будоражит. Стюардесса ложится со мной. Когда она успела раздеться? Утром я вижу ее снова в форме. Сок. Тосты. Кофе или чай? Нас явно подталкивают к решительным действиям. Сын возвращается из школы. Улучив момент, рассказывает, что все всё знают. Первые страницы утренних газет целиком о нас. Ночью в моих объятиях она шепчет: "Не поддавайся. Это провокация". Голова идет кругом. Кто же с кем и кто против кого? Я принимаю самое мужественное решение: ждать.

Как же он смел возложить на меня — почему на меня? — это бремя! Памятуя о давнишней записи отца, я вырядился в костюм, чтобы надеть траурную повязку. Лицо мое сдавлено мыслью о том, что теперь мой черед продолжать. Я дале-

ко не молод. Рядом сквозь августовский зной движется беременная глыба жены. На щеке до сих пор еще звенит пощечина. Может, начать — но ведь это не начало, переход не должен быть заметен — с эпизода пощечины? В этом была бы не только логика, за которую он едва ли похвалил бы меня, но и звуковая переключка — за это похвалил бы. Что еще он мог мне оставить? Это и вправду единственный шанс. Завтра у меня встреча с Бруно. Отчего отец предпочел меня ему? Конечно, из-за возраста. Интересно, знает ли Бруно? Лицо мое чернее повязки. Прохожие испуганно уступают мне дорогу. Им и в голову не приходит, что я убиваюсь не по отцу, а по себе. В моем возрасте уже непозволительно делать это дурно. Мой вкус не выдержит корявости собственной руки. Но ведь не напрасно он был моим отцом!?

Уже не скажешь скоро осень вот ты идешь по парку как по сердцевине витражного стекла там где оборвется ограда нищета красок лютеранство света здесь листья маленькие как дети дети маленькие как листья трогать каштан леденеть от головокружительного ритма его впадин и вздутий и тут же вспомнить Лику чередование холодных и горячих мест на ее теле и тут же забыть вдыхать настоенный на вине и лепестках ребячьих голосов воздух услышать лепет прокитаенных строк пожалуйста не улетай о госпожа моя перенестись на них в мир по имени о бабочка о мусульманка Бог с ним с тем фарсом с чего все началось настроить ограду сквозную длинную красивую как цитата но все же препону дотронуться до графического образа ограды не отрывая взгляда от порхающего поодаль и в сторону образа бабочки плавно глотать вино настоенное на осени подозревать себя в любви листья и дети всплески голосов осень и вино понять еще вчера не жил кощунствовал

С БУКЕТОМ РОЗ

Они сидят лицом к лицу на скамьях пригородного октябрьского поезда. В такую пору уже никто не ездит. Мороз может застать врасплох, и тогда в одно мгновение выцветут глаза, поржавеют губы. Но ради воздуха с синяками под глазами можно рискнуть. По тесному проходу вагона наперегонки носятся сквозняк и гудки. Те, кто покидали поезд последними в конце сезона, нарочно оставили все окна открытыми. Так ведут себя оккупанты, покидающие чужой город. Фантики, клочья газет, листья, презервативы, отгрызки елозят, шуршат, и когда ветер не жалеет на них сил, тащат весь поезд. Потому он движется рывками.

Они не знакомы. Но только ли страсть к синякам под глазами связывает их? Она откинулась назад. Он подался вперед. Она вогнута, он выгнут. Кончиком мизинца она тербит нижнюю губу. Его бедра расслаблены и чутко, как ра-

дар, реагируют на подрагивание мизинца. Если мысленно соединить линиями их локти, плечи, выступы и углубления, то всему найдется свое соответствие, их резьба идеально совпадает. А если по законам гомотетии все эти воображаемые линии осторожно отделить от тел и подвесить – без всяких ниточек и проволочек – в воздухе, то получится совершенная конструкция, не схема, а сама плоть любви.

Этот поезд можно остановить где угодно. Ну хоть в Андалусии. Скажем, в Кордове. Город, который он никогда не видел, но всегда скучал по нему. Субботний полдень. Ярмарка улыбок, костюмов, детей. Какао – детям, кофе с коньяком – взрослым. Он с детьми. Он сегодня перебежчик. Шерсть, плюш, замша, вельвет. Велюровые шляпы, перхоть на бостоновых воротниках. Очереди в парикмахерских и в кино. Выбритые до синевы щеки. Брови филигранной работы. Голые ожерелья. Он улыбается, чтобы не расплакаться. Он идет по линии разрыва, и то, что остается за спиной, тотчас зарубцовывается, затягивается. Даже шва не видно, словно не было всех этих бесконечных лет в утлой протестантской подмышке, которая и вспотеть-то как следует не может. Шоколад "Люкс". Люксовские квартиры с матовыми дверями. Благородно неброские люксовские дома. Бежевая обувь, достойная витрины кондитерской. Но самое главное – взрослые. Они нарядны. Они богаты и элегантны и гордятся этим. У домработниц тоже выходной. Они селят на своих коротких ножках, крепкие, цветастые, многодетные, многогрудые. Вечером взрослые соберутся, чтобы бесконечно танцевать только один танец: танго. След помады на бокале с шампанским, рука в перстнях на дубовом подлокотнике кресла. Коньяк и мебель делают краснодеревщики. Корень элегантности – богатство. Трюфельное полено принес из лесу лесоруб с пальцами музыканта. Оно живет, как мотылек, только один миг. А потом смешивается с приторным, преступным запахом духов "Лунный свет".

Этот запах не выходит из моды уже тысячу и одну ночь. Нет ничего вкусней какао. Улица так узка, что когда проезжает ландо, нужно прижаться спиной к стене. Он прижимается к надежным дубовым воротам с остроконечными медными бляхами. Ворота подаются, и он оказывается лицом к лицу с синьоритой. Он делает шаг вперед и. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Октябрь, а солнце, что твой август. Какой же праздник без крови? Когда здесь закалывали быков, он лихорадочно, пачку за пачкой, жевал гематоген. Бармена зовут Маноло. За его спиной три бочки с вином. Монтия секо. Монтия медио. Монтия дульсе. Терпкое. Сладкое. Пресладкое. Но между бочками припрятана бутылка орухо, виноградной горилки. Здесь такую не делают. Маноло – северянин. Резиновая струйка вина тянется к стакану. Стакан ходит на ней вверх-вниз. Маноло совершил падение: вместо того, чтобы раскручивать щекотное галисийское ривейро, он фокусничает с жалкой монтией и покрикивает на неопытного подручного-заикку. Тот нарезает тонкие ломтики копченого мяса и передергивается даже когда молчит. Маноло, пор фавор. Теперь они друзья не разлей орухо. Они здесь оба чужеземцы. Оба – свои. Они оттуда, где в цене солнечные деньки и где дождь, как песок, поскрипывает на зубах. Маноло из Галисии. Он – из Галиции. Фантики, клочья газет, листья, презервативы, огрызки приходят в движение, поезд трогается. Что-то меняется в расположении их тел. Поджарый воздух ее фиордов уже опасен для его оттаявшей теплой груди.

Со своими волосами она обращается, как с виолончелью. Мелодия получается густой, сочной. Ее рука с гребнем, занесенная над головой, приближается к звуку. С решетчатого балкона величиной с наперсток свисает, но не падает дождь цветов. Цветов, заколотых в ее волосы. Она резко поворачивается. Это Бланка, жена Маноло. Сладкое должно быть сладким. Символ красоты – красота. Диалектика – оружие

уродов. Сегодня он в башмаках с золотыми пряжками, на каблуках-кастаньетах.

Нет, он здесь не чужак. На нем не висит гроздь фотоаппаратов. Он не в спортивных брюках. Его сорочки не наводят мысли о гольфе или лапте. Он артистичен и гибок. Его улыбка размыта, пробуравлена алкоголем и никотином. Движения замедленны, лукавы. Цвета его одежды на грани дозволенного, но не переступают ее. Походка — танец. Невинный вопрос — объяснение в любви. Хотя здесь каждый по солнцу может легко определить время, его галантно спрашивают "который час", чтобы удостовериться, убедиться. Он обаятельно разводит руками, как ребенок, подражающий взрослым. В его понятливой непонятливости сквозит родное, любимое. Отлипнуть от него невозможно. Так кто же вы, откуда? О! А! Вы с нами. Да, я ваш. Только, пор фавор, не надо про. Еще не родившись, уже наши. Стаканчик монтии? Народ, скрюченный фламенко, как полиомиелитом. Слава Богу, не жадностью, не корыстью. Народ танцующих свастик. Летящие шали, сорванные с ночных бабочек. Джентльмены предпочитают шнуры, кабальеро — пряжки. Пока каблук соперничает с кнутом, пряжка сияет, ликует. Даже на школьных утренниках пляшут свою кордовеньяску. Пружина в крови. Жизнь лопается, пружина остается.

В свой город он приехал с родителями, то ли победителем, то ли захватчиком. Крохой. И сразу влюбился в девочек-чернавок. Их имена, оскорбительные для русского уха, их бархатистые усики будоражили. Он знал свое место прошлого: не почетное и не оскорбительное, а просто пустое. Он таял, он был топленным маслом. Он был готов размазать себя на початке кукурузы, на куске мацы, но в его масле никто не нуждался. Понемногу его стали брать на странные вечеринки полудремы-полустрасти. Он не понимал этого "полу" и глупо, по-юношески форсировал. Рухля, я умоляю, я

умираю, я женюсь. Но замуж они не торопились. Рухля пожимала топлеными плечами, при этом ее до срока вышедшая из берегов шея оставалась неподвижной. Она хотела иероглифов любви, а не самой любви. Чтобы понять это, надо было спуститься в андалусский винный погреб. Кабальеро склонился к уху синьориты. Его редкие, как конница, волосы, идут в атаку. Солдаты нахлобучивают береты. Когда солдаты уходят, праздник кончается. Те, кто танцуют фламенко, прикасаются друг к другу лишь затем, чтобы отдернуть руку. За всю жизнь он не кончил ни одного романа. Как только дыхание героев смешивалось, он в ужасе захлопывал книгу.

По цвету стен можно определить, что растет в саду или в огороде. Если хата белая, значит яблоки, если иссиня-белая — баклажаны, если к белизне подмешан желток — абрикосы. Плодов из окна вагона не различить. Он всматривается в медленно летящие хлопья хат.

Пора появиться розе. Ей здесь место. Пусть одним росчерком узаконит луну, приколотую к черному бархату, мелькнет, оставив на память запах кровавого бифштекса. Ее можно поместить вот здесь, между Цилей и Хаюсей. Как же он ее забыл? Роза Шварц. Упреки в повторах и мелкотемье. Разве Рухлина грудь, стеревшая его в порошок, мелкотемье? Если бы у розы был голос, она бы не говорила, а пела. Сопрано. Или шипела. Почему он замахивается на протестантского мальчика? Почему покушается на право спастись от надвигающегося ужаса? Мало этому несчастному сирости и убогости родителей, сырых каменных мешков, где пытка называлась "хор мальчиков"? Ну и что с того, что этому мальчику приходилось вместе с лошадьми хрумкать сечкой. Даже взаимный онанизм был под запретом. Надо было добывать свой радиий в угрюмом одиночестве. Зато греть стульчак старшекласникам никто не запрещал. Нет, с ним не тютюш-

кались, не зацеловывали. Дело же не в том, что лучше, а что хуже, что красивей, а что уродливей, а в том — что свое. И возвращаешься к нему, потому что боишься движения, которому придет конец. Ну хорошо, задело на заре туманной, отпечаталось, вываяло. Но это только четверть, осьмушка. Когда отступаешь назад, не рискуешь сорваться в пропасть, а впереди — пропасть. Он может сказать вслух, не крикнуть, а медленно, пересохшим ртом, членораздельно, деревянным языком, внятно, запекшимися губами, по слогам сказать: да, я возвращаюсь не из-за того, что там было уютно, мягко, красиво, а потому что боюсь... ну, чего же?.. как там ее зовут?.. ну, этой...

Уличные художники ушли с Пасео дель Гран Капитан, оставив на тротуаре Марию Магдалину в чепчике. Мальчик склоняется над ней. Обходит, смотрит из-за затылка, чтобы высмотреть, в какие же холмы убегают шея. Но они едва угадываются в складках одежды. Отчаявшись, прикасается ладонью к тому месту, где должна быть грудь. Подносит ладонь к носу и жадно нюхает. Снять комнату на этом бульваре, на первом этаже. Лежать годы напролет, цедить херес и, наконец, дожидаться, когда сквозь окно донесутся русские слова. Тогда громко выкрикнуть: "Хоть бы минуту покоя дали. Потихе, пожалуйста!" Услышав в ответ громовую тишину, давить в подушку хохот. Упиваться счастьем.

Здесь каждый приглашен на фиесту. И если в нем самом есть хоть чуточку фиесты, праздник получится. У окна дожидаться не русских, а украинских слов. Тогда жить придется несколько столетий. Рука у него тоже выкривится, как у местных. Улицы здесь кривые. Местным так часто приходится показывать, как пройти к мечети, собору или синагоге, что они сразу рождаются с выкривленной рукой. Перерисовав извилистую линию руки, можно смело отправляться в путь. Руку просто прикладываешь к бумаге и обводишь ка-

рандашом. Так в XIV веке Р.Хр. была составлена карта города: все местные собрались и приложились навакшенной рукой к огромному листу бумаги. С тех пор ежегодно в один и тот же день муниципалитет устраивает "фиесту карты города". Приезжие, покидая город, непременно покупают сувенир: кривую руку из фарфора.

Города сюжетны. Тому свидетельством площади. Площади — это выдох, развязка, счастливая любовь. Если город организован вокруг площади, то жизнь в нем нормальна. Случайность площадей говорит о безумии. В таком городе сходишь с ума, ибо не находишь площадь там, где она должна быть. В прошлой, нормальной жизни — площадь на месте. Куда бы ни приехал, ищешь площадь, и если находишь, то веришь, что ты — пусть единственный, пусть последний — но нормальный человек на земле.

Он встретил ее, поднимаясь по крутой улице. Солнце истекло селедочным жиром. Она волочила двух детей, три подбородка и четыре груди: весь свой скарб. "Здравствуй, Раечка!" — имена тогда окончательно обкатались. Она остановилась. Выдохнула воздух из топки. И сказала: "А ведь ты — дурак". Он не пришел в ярость. Он был в ярости еще с утра: каштан и сердце вываливались из строки, в которую он их вставил. Выстрелил по Рухле из пушек:

— Знаешь, Раечка, поэтам и девушкам все позволено. Это непозтам надо стараться — быть красивыми или умными. Девушка, что ни сделает, остается чиста.

— Все равно дурак. Розу прошляпил. Она по тебе с ума сходила.

Он остолбенел. Рухля была права.

На самой границе с Францией, на маленькой станции, в газетном киоске, он увидел фотографию красавца-Маноло в наручниках. "Подручного — на копченое мясо. Бланка рыда-

ет над телом любовника. Вчера ночью в Кордове...”

Путешествие теперь кажется тихим, беззвучным. На вокзале тысячи встречающих, включенных на полную громкость. Они делают вид, что встречать не стыдно, что их поступок, хоть и не героичен, но вполне понятен и порядочен. Кто-то приезжает, кто-то встречает. Не всем же быть смельчаками. Они правы. Кто-то же должен разрыдаться, увидев его в тамбуре, с букетом роз.

ПЛАН ИЗДАТЕЛЬСТВА НА 1985-86 г.г.

ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ. "Альбы и серенады". 146 стр. Сборник рассказов, в которых события и мотивировки диктуются не топографией и хронологией, а литературной школой и языковыми пристрастиями автора. Большинство рассказов, включенных в сборник, переведены на английский и передавались британским Радио-3 Би-Би-Си.

ЗИНОВИЙ ЗИНИК. "Руссофобка и фунгофил". Роман. Герой повествования приобрел в Москве репутацию западника благодаря своим кулинарным склонностям: при всяком удобном случае он пытался доказать, что все кулинарные рецепты заимствованы русскими у народов Запада. Однако вдали от родины, после женитьбы на англичанке и переезда на постоянное жительство в Лондон, его взгляды на кулинарию и, следовательно, на жизнь кардинально меняются – к ужасу жены и английских знакомых. Кто же, в действительности, скрывается за внешностью этого юродивого от кулинарии?

АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ. "Философия одного переулка". (История еще не оконченной жизни одного русского философа, рассказанная им самим, а также некоторыми, более или менее русскими философами).

СЕВА НОВГОРОДЦЕВ. "Говорящие письма". В основу этой книги положены письма, которые Сева Новгородцев, ведущий радиопрограммы рок-музыки из Лондона, получал в течение нескольких лет от своих слушателей в СССР. Книга – это диалог автора с невидимой аудиторией, обмен говорящими письмами.



Игорь Померанцев родился в 1948 году в Саратове. Раннее детство провел в Сибири. До эмиграции в 1978 году жил на Украине. Работал учителем и техническим переводчиком. В 1972 и 73-м годах опубликовал в московском журнале «Смена» две подборки стихотворений. Публиковал прозу и поэзию в русских зарубежных журналах: «Ковчег», «Время и мь», «22», «Синтаксис», «Континент». Перевел для Русской службы Би-Би-Си пьесы С. Беккета и Г. Пинтера. Автор радиоинсценировки «Признание» по Ф.М. Достоевскому и радиопьесы «Вы меня слышите?». В сборник «Альбы и серенады» вошла избранная проза, написанная в 1975-1985 гг.